



Иван Сергеевич Шмелев
Богомолье (сборник)
Серия «Школьная библиотека (Детская литература)»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6981612
Шмелев И. С. Богомолье : повести, рассказы : Детская литература; Москва; 2008
ISBN 978-5-08-004285-0

Аннотация

В книгу замечательного русского писателя вошли наиболее известные повести «Богомолье» и «Неупиваемая Чаша», а также рассказы и очерки для детей. Для старшего школьного возраста.

Содержание

Шмелев – художник идеальных образов[1]	5
Повести	17
Богомолье	17
Царский золотой	17
Сборы	25
Москвой	30
Богомольный садик	36
На святой дороге	42
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Иван Шмелев

Богомолье (сборник)

© Суровова Л., вступительная статья и комментарии, 2008

© Кузнецов А., иллюстрации, 2008

© Оформление серии. ОАО «Издательство «Детская литература», 2008

Шмелев – художник идеальных образов¹



И. С. Шмелев

21 сентября 1873 года у московского купца Сергея Ивановича Шмелева произошло радостное событие: родился мальчик, четвертый ребенок в семье. Недельного младенца понесли крестить в приходской храм Казанской иконы Божией Матери у Калужских ворот и нарекли Иоанном в честь дедушки. Так начался жизненный путь русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Его предки происходили из крестьян; после войны 1812 года они поселились в Москве, на Большой Калужской улице. Этот район города, по тогдашним понятиям, считался почти окраиной, а в 70-е годы XIX века уже принадлежал к Замоскворечью, особому миру, где сосредоточилось торговое сословие.

Как рассказывает Шмелев в своей автобиографии, двор их дома всегда был полон работным людом, крестьянами разных губерний, приезжавшими в Москву на заработки. Отец писателя брал подряды и нанимал дюжих молодцов, сколачивая из них плотницкие артели. Скольких и скольких мужиков из разных областей видел шмелевский двор: у каждого свой говорок, свои местные словечки, присказки, прибаутки, свой запах, свое шитье на рубахах. Все услышанное будущим писателем на родном дворе можно по праву назвать его школой, лучшим университетом. Сам Шмелев напишет об этом: «Слов было много на нашем дворе – всяких. Это была первая прочитанная мною книга – книга живого, бойкого и красочного слова.

Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно. Мозолистые руки давали мне с добродушным подмигиваньем и рубанки, и пилу, и топорик, и молотки и учили, как „притрафляться“ на досках, среди смолистого запаха стружек, я ел кислый хлеб, круто посоленный, головки лука и черные, из деревни привезенные лепешки. Здесь я слушал летними вечерами, после работы, рассказы о деревне, сказки и ждал балагурство»².

Рано лишилась семья Шмелева кормильца, осиротела. Не исполнилось Ване и восьми лет, как умер отец. Последним подрядом, взятым Сергеем Ивановичем, было сооружение трибун перед открывавшимся памятником А. С. Пушкину на Тверском бульваре.

¹ Статья и комментарии подготовлены при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 06-04-00116а).

² Шмелев И. С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. С. 14.

Оставшись с пятью детьми на руках – старшей дочери было четырнадцать лет, а младшая только родилась, – Евлампия Гавриловна, мать Ивана Шмелева, сумела всех вырастить и выучить, не продавая родного гнезда. В 1884 году Ивана устроили в престижную Первую гимназию Москвы. За него хлопотала его крестная мать (троюродная сестра по отцу). Обстановка этой гимназии, фасадом глядящей на храм Христа Спасителя, смущала, даже подавляла мальчика, привыкшего к низким потолкам, уютному обжитому пространству обычного купеческого особняка. А здесь все было размеров значительных. Одна лестница чего стоила: широченная, высокая. Сверстники были все дети дворянских кровей, родовитые. Ваня побаивался их, стеснялся учителей, у него были сплошные «колы» и двойки.

По совету друзей семьи Шмелева перевели в Шестую гимназию, напротив чугунных ворот которой ныне стоит бюст писателя.

Здесь рождался Шмелев-художник. Ему повезло с учителем литературы, открывшим в гимназисте большое дарование. Как-то после очередного сочинения на свободную тему Федор Федорович Цветаев потрепал юношу по плечу и, указав пальцем на голову, значительно произнес: «У тебя есть что-то... некая, как говорится, «шишка». Притчу о талантах... помни!»

Через несколько лет, перед свадебным путешествием на Валаам, будучи уже студентом первого курса университета, Шмелев услышит приблизительно те же слова от человека, совершенно далекого от литературы. По просьбе молодой жены, Ольги Александровны Охтерлони, Шмелев решился взять благословение на дальнюю дорогу у старца Варнавы, подвизавшегося в Черниговском скиту близ Троице-Сергиевой лавры. Напутствуя отшатнувшегося от религии студента, прозорливый иеромонах предрек ему писательскую славу: «Превознесешься талантом». Не пройдет и года, как молодой Шмелев напишет свою первую книгу «На скалах Валаама» (1897), добросовестно излагая свои впечатления от встречи со старинным северным монастырем, с его укладом и насельниками. Либерально настроенный студент столкнулся с непонятным ему миром подвижников и аскетов, с иными, чем его повседневная жизнь, порядками. Увиденное привело его в изумление, но священного трепета он пока не почувствовал. Внешне в судьбе юноши ничего как будто не изменилось. Шмелев даже успел отсидеть три недели в Бутырской тюрьме за участие в студенческой демонстрации. Университет окончил успешно: досконально освоил юриспруденцию и готовился сделать карьеру блестящего адвоката.

О писательстве на какой-то срок Шмелев и не вспоминал. Будущее рисовалось ему в лучах небывалой славы: он действительно проявил себя как одаренный оратор на нескольких судебных процессах. Однажды его речь как защитника достигла такой убедительности, что подсудимого оправдали, сняв с него все обвинения. Но судебные дела, как правило, представляли вереницу одно на другое похожих мелких преступлений, в основном жалоб и кляуз. И сами истцы, сознавая неправоту своих притязаний в суде, шли со взяткой. Полтора года промучился Шмелев, бросил адвокатуру и Москву и уехал во Владимир-на-Клязьме податным инспектором. Разъезжал по провинции, собирал материал для своих будущих рассказов. Станным покажется, но Шмелев и не думал тогда что-либо писать, заниматься литературным трудом, отдать этому себя всего: оставить службу чиновника для него казалось невозможным.

Уже имея почтенный писательский стаж, Шмелев признавался, что, получив свой первый в жизни гонорар за рассказ «У мельницы» (1895), как-то стыдился этих восьмидесяти рублей. Чтобы заработать их, ему нужно было бы давать уроки почти год, бегая из одного конца Москвы в другой. Для Шмелева – студента-первокурсника, каким он тогда был, – 80 рублей составляло целый капитал. Но главное здесь не деньги, а мысли тогдашнего Шмелева: «Ведь я же выдумал весь рассказ!.. Я обманул редактора, и за это мне дали деньги!..

Что я могу рассказывать? Ничего. А искусство – благоговение, молитва... А во мне – ничего-то нет»³.

Несмотря на подобные рассуждения, внутренний голос подсказывал Шмелеву: он должен совершенствоваться, должен идти своей дорогой, выбрать писательство. И выбор произошел, но гораздо позднее, чем следовало ожидать, через семь с половиной лет чиновничьей службы. «Помню, в августе 1905 года, – рассказывал о том Шмелев, – я долго бродил по лесу. Возвращался домой утомленный и пустой опять в свою темную квартиру. Над моей головой, в небе, тянулся журавлиный косяк. К югу, к солнцу... А здесь надвигается осень, дожди, темнота... И властно стояло в душе моей: надо, надо! Сломать, переломить эту пустую дорогу и идти, идти... на волю...

Я дрожал в каких-то смутных, неясных переживаниях. Журавли не уходили из глаз. Я пришел домой.

Вечером в тот же день я почувствовал необходимость писать... И в один вечер написал рассказ „К солнцу“⁴.

Шмелев предложил свое произведение в журнал «Детское чтение», где рассказ с удовольствием приняли, приглашая к дальнейшему сотрудничеству. Так появился ряд произведений для детей.

Начинающий писатель решает на ответственный жизненный шаг – бросить службу и переселиться в родную Москву. Его рассказы публикуют, он заявляет о себе как серьезный прозаик, поднимающий злободневные, хотя и общие для того времени темы.

В творчестве 1906—1910 годов основное место у Шмелева занимает социальный вопрос. Его волнует неравенство, граница, разделяющая имущие классы общества от неимущих. Герой рассказа «Гражданин Уклеikin» (1908), простой мастеровой, гордится своей новой привилегией: его наделили после революции 1905 года правом выбора наравне с господами в богатых шубах. Но стоило ему разочароваться в равенстве между ним и теми, кто стоит выше на социальной лестнице, как он убивает жену и себя.

Ранний Шмелев тщательно ищет для себя и своих героев выхода из этого социального тупика. И он в конце концов обретает спасительный ориентир, отказавшись от демократических идеалов. В этом ему помогает творчество А. П. Чехова.

Но начнем по порядку. Вернувшись в Москву молодым (по стажу) писателем, Иван Сергеевич пытается завязать литературные знакомства. Он попадает по праву печатания, если так можно выразиться, в кружок издателей «Детского чтения» четы Тихомировых. У них по субботам собирается очень разнообразная публика: от постоянных авторов детского журнала, в число которых входил и Шмелев, до артистов Малого театра, художников и тогдашних крупных писателей – Н. Н. Златовратского, В. М. Гаршина, В. Г. Короленко. Когда Шмелев поселяется в Денежном переулке (ныне Старомонетном), на дворе стоит 1907 год. Тихомировские «субботы» уступают место приобретающему известность московскому кружку – «Средам», организованному писателем Н. Д. Телешовым. Участником собраний на квартире Телешова становится и Шмелев. «Среды» родились из желания молодых писателей целиком посвящать совместные вечера чтению своих новых произведений, обсуждению прочитанного, беседам о писательском мастерстве. Возникла потребность в таких собраниях, где бы не смущало присутствие маститых собратьев по перу.

В 1904 году последний раз посетил Москву А. П. Чехов. В Художественном театре поставили его пьесу «Вишневый сад». Своего кумира встречают у себя члены «Среды». Целая плеяда молодых беллетристов, участников «Среды», находилась под сильным обаянием чеховской поэтики. Ими была усвоена манера чеховского письма: размытость сюжета,

³ Шмелев И. С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. С. 308.

⁴ Шмелев И. С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. С. 20.

любовь к деталям и разного рода бытовым подробностям, тяготение к образности языка, к изобразительности, нежелание давать свой комментарий к изображаемому. Шмелев перенял не только внешние приемы; Чехов открыл ему глаза на то, что измученного тяжелым трудом человека не освобождают «аптечки и библиотечки» и равенство в правах. Только через подлинную Красоту, заложенную в религии, он способен освободиться от невежества.

В 1911 году была опубликована повесть «Человек из ресторана», сразу сделавшая Шмелева известным на всю Россию и впоследствии принесящая ему мировое признание. Тема повести – взаимоотношения детей и родителей. Главный ее герой, официант Скороходов, представляет собой тип «маленького» человека, который теряет работу, а его единственному сыну за увлечение социалистическими идеями грозит арест и каторга. Скороходов не ведет себя по примеру Самсона Вырина, героя пушкинской повести «Станционный смотритель», дочь которого бежала с проезжим офицером, – не опускается, пытаясь утопить горе в стакане. Автор наделил его не только страдающим отцовским сердцем, но и способностью рассуждать. Старый официант наравне с сыном ищет правду в жизни и находит ее в добром человеке, спасшем его сына. Для него вдруг открылось, что социальные вопросы разрешаются через помощь любому человеку независимо от рода и звания, а способность подавать эту помощь, творить добро дается от Бога.

В повести «Росстани» (1913), последовавшей за «Человеком из ресторана», Шмелев раскрывает во всей полноте мысль о доброделании как залоге социального благоустройства и справедливости. Герой «Росстаней», старый купец, с благословения монаха завершает свою жизнь каждодневной раздачей милостыни.

Прошло еще буквально несколько лет после появления «Человека из ресторана», и в 1914 году разразилась Первая мировая война. Единственный сын Шмелевых, Сергей, надел офицерскую форму и ушел на фронт, где потерял здоровье, отравившись ядовитыми газами.

На Февральскую революцию 1917 года Шмелев возлагал большие надежды. Он отправился как спецкор от газеты «Русские ведомости» на поезде в Сибирь вместе с передовой интеллигенцией встречать выпущенных на свободу политкаторжан. Писатель заразился всеобщим ликованием, походившим на массовый психоз.

Скоро туман спал с его глаз, и он с женой уехал в Крым на купленную в Алуште дачку. Пока Москва расхлебывала последствия второй революции, Октябрьской, голодала, в Крыму до января 1918 года шла относительно спокойная полукурортная жизнь. Туда бежали со всей России, охваченной брожением, поджогами, насилием. Бежавшие, поселившиеся на дачах у знакомых, на городских квартирах и перевидавшие и немцев, и англичан, и петлюровцев, ждали разрешения событий и надеялись, что Добровольческая армия наконец освободит Россию от большевиков.

Вернулся к родителям и Сергей Шмелев, когда Крым оказался в руках белой армии, и приписался к штабу генерала Врангеля. Врангелевские войска покинули Крымский полуостров в ноябре 1920 года. Тем, кто остался, от новой власти была обещана амнистия. Шмелевы оказались в числе доверчивых и поплатились за это очень дорого: они потеряли сына в 1921 году. Сергея под конвоем отвезли в Феодосию, протомили в сыром подвале несколько месяцев и затем расстреляли как белого офицера.

Мрачные страницы из истории Крыма под властью большевиков станут материалом для эпопеи Шмелева «Солнце мертвых» (1923). Райский уголок с дворцами, цветущими садами, виноградниками новая власть превратила в арену для истязания невинных людей. Крым в творчестве Шмелева навсегда соединился со звероподобным и нечеловеческим: время вдруг повернуло вспять и люди стали напоминать дикарей. Бывший курорт перестал быть местом, где завязываются любовные романы. Но до того, как большевики вступили в Крым, Шмелев успел создать произведение о любви, навеянное роскошной южной природой.

Осенью 1918 года писатель вырвался, как из пожарища, из разоренной Москвы и поселился на своей алуштинской даче. Его окружала более чем скромная обстановка, которая не помешала ему взяться за написание «Неупиваемой Чаши». Эта романтическая повесть сложилась как бы помимо и вопреки неустроенности писательского быта. Шмелев сам не без удивления вспоминал о тех жизненных обстоятельствах, послуживших фоном для его нового произведения, – «Без огня – фитили из тряпок в постном масле, в комнате было холодно – 6 градусов. Руки немели. Ни единой книги под рукой, только Евангелие. Как-то неожиданно написалось. Тяжелое было время. Должно быть, надо было как-то покрыть эту тяжесть. Бог помог»⁵.

Сама обстановка подсказывала писателю ухватиться за спасительный образ Пресвятой Богородицы. Вспоминалось, наверное, как далекие предки обращались в любой беде, в скорбях, перед сражениями к Ее заступничеству. Известно, насколько дорога была для русских икона Донской Божьей Матери, приобретшая особое почитание как помощница нашему воинству. Она сопровождала войска Дмитрия Донского на Куликовом поле. Именно с Ее помощью отступили от Москвы полчища хана Казы-Гирея в 1591 году при царе Федоре Иоанновиче, молившемся перед этой иконой и основавшем в том же году Донской монастырь. Среди москвичей особым почитанием пользовалась икона Иверской Божьей Матери. Об этой московской святыне Шмелев напишет в эмиграции. Пока же у него перед глазами чудесный образ Богородицы, держащей в руках чашу, в которой написан Младенец Христос.

Иконография необычная, неуставная. Древние иконы Богородицы создавались по одному образцу: Богородица со Спасителем на руках. Но существовали и такие, на которых Христос написан как бы в медальоне на груди Богородицы, простирающей молитвенно руки вверх. Пример тому – распространенная на Руси икона «Знамение». Тип изображения «Младенец в чаше», которую держит в руках Дева Мария, у нас не был известен, хотя встречался на Востоке. В России обретение иконы «Неупиваемая Чаша» совершилось в 1878 году. Шмелев почти точно воспроизвел обстоятельства, при которых произошло это обретение.

Действительно, как и в шмелевском произведении, чудотворная икона прославилась после исцеления калеки солдата. Но у реального солдата отнялись ноги вовсе не от ранений, а в результате чрезмерного винопития. Вероятно, у этого опустившегося человека еще не была окончательно потеряна вера. Калека чуть ли не на четвереньках пополз в Серпуховской Владычный женский монастырь, повинувшись грозному повелению старца, явившегося ему во сне.

Несколько раз в сонном видении чудесный старец, в котором солдат узнал основателя монастыря, преподобного Варлаама, указывал ему дорогу в Серпуховскую обитель, где перед чудотворным образом «Неупиваемая Чаша» нужно отслужить молебен и ждать исцеления. Когда солдат достиг цели своего странствия, монастыря, и стал вопрошать о чудотворной иконе с названием «Неупиваемая Чаша», ему ответили, что такой в обители не имеется. По настойчивым просьбам солдата икону продолжали искать, пока не обрели висящей возле ризницы. После водосвятного молебна, как и было обещано в чудесном сновидении, солдату вернулось телесное здоровье и одновременно избавление от недуга пьянства.

Для Шмелева предание об иконе «Неупиваемая Чаша» послужило предлогом, отправной точкой для создания своего рода апокрифа⁶. Шмелеву не доставало чего-то невероятного. Он мысленно вопрошал: кто же мог написать необыкновенный образ Богородицы? В воображении писателя сложилась история иконописца, изографа, передавшего в красках лик Девы Марии.

⁵ Ш м е л е в И. С. Письмо Р. Т. Земмеринг // Москва. 2003. Окт. С. 232.

⁶ А п о к р и ф – жанр в древнерусской литературе. Это невероятная история о посещении загробного мира (рая или ада), о жизни святого, об обретении чудотворных икон.

История об иконописце Илье Шаронове действительно необычная. Перед нами конечно же не древний мастер, не Андрей Рублев, не Феофан Грек, не Дионисий и даже не Симон Ушаков – это *почти* художник. Уже первые созданные Ильей «иконы» – лишь замаскированные под иконы портреты. Здесь Шмелев погрешил против исторической точности: действительно, первые портреты маскировались под иконы. Такие иконы-портреты известны со второй половины XVII века. Портреты царевны Софьи и юного Петра I писались изографами как иконы, изображающие их святыми.

Время действия шмелевской повести – первая половина XIX века, когда стены в храмах уже расписывали не согласно древнему образцу, не уставно, а в западной манере, копируя живых людей, не стараясь передать в изображаемом отсвет иного, нездешнего мира. На примере творчества Ильи Шмелев стремится рассказать о постепенном разрыве новой иконописной школы со старыми мастерами, создававшими свои произведения, опираясь на специальное руководство для иконописцев («Подлинник»). Этот окончательный разрыв с древней иконописью происходил на глазах Шмелева, современниками которого были такие известные художники, как М. В. Нестеров и В. М. Васнецов. Наши живописцы, бравшие заказы на роспись соборов, подходили к созданию храмовых фресок и иконостасов так же, как и к своим картинам. Герой Шмелева, как было сказано, создавал свои живописные иконы в эпоху Александра I и Николая I. Среди его современников живописцев-иконописцев назовем К. П. Брюллова и А. А. Иванова, исполнявших заказы на храмовую роспись.

В начале XIX века от старины уже отступили. Отступничество Ильи Шаронова Шмелев усугубляет еще и тем, что посылает своего героя обучаться в Италию, где его иконописная манера приобретает абсолютное сходство с западными образцами религиозной живописи.

Зададимся вопросом: как относился писатель к утрате современными ему иконописцами своих национальных черт? Несомненно, Илья Шаронов – герой любимый и автор всецело на его стороне. В учебе русского мастера у итальянцев нет и тени осуждения. Наоборот, Шмелев дает понять читателю, что наш крепостной художник настолько усвоил приемы западноевропейской живописи, что превзошел своих учителей. Окончив школу итальянской живописи, Илья не останавливается на достигнутом. В нем живет его родная стихия, он всегда осознает себя русским. Внешне Илья приобретает европейский лоск и в поведении и в манере письма, но пишет он свои иконы, вспоминая тот неземной образ, увиденный в детстве: «...как мыльная пена или крутящаяся вода на мельнице... узрел он будто глядевшие на него глаза...»

Моделью для написания Богородицы шмелевский герой избирает не уличную девчонку, торгующую своей красотой, как то делали Рафаэль и Тициан, рисуя своих мадонн. Илья Шаронов переносит на загрунтованную под икону доску черты своей барыни. Но, перенося прекрасные земные черты, наполняет их неземным содержанием. Да, он влюблен, и страстно влюблен, в предмет своего изображения, но стремится передать в иконе лишь благоговейно-молитвенное состояние, преодолевая свое влечение к живой, осязаемой женщине. Но главное, что этим духовным содержанием богата сама модель, сама Анастасия. Илье удалось открыть в ее облике иные черты, тот образ и подобие Божие, во всей полноте явленные в Богородице.

Противостояние двух культур, западной и русской, заложенное в повести Шмелева, не могли не уловить иностранцы, прочтя в переводе на свой родной язык «Неупиваемую Чашу». Сельма Лагерлёф написала из Швеции, что не понимает «рабской покорности» Ильи. Для европейцев осталось загадкой, ради чего создавалась повесть о крепостном иконописце. Зачем писатель избрал своим героем «раба», зачем изобразил крепостничество? Знаменитая шведская писательница силилась понять, почему Илья Шаронов выбрал добровольно неволю, вернулся на родину, покинув Италию, а с ней и будущую славу великого живописца.

Идейное содержание повести без тех составляющих, которые вызывают недоумение у европейцев, понять невозможно.

Шмелев в этой повести не отказывается от социального конфликта. Но в «Гражданине Уклейкине» и «Человеке из ресторана» неравенство в общественном положении приводит человека к отчаянию. Теперь Шмелев сознательно пренебрегает каким-либо делением на классы и сословия. Он рисует художника, для которого это не имеет никакого значения, потому что он внутренне свободен, а внешние цепи, есть они или нет, не мешают ему творить. Такая повесть о внутренней свободе, о независимости любого человека в обществе, к какой бы социальной группе он ни принадлежал, появилась своевременно, именно тогда, когда Россия была раздираема поистине междоусобной бранью. Крестьяне, обуреваемые страстью наживы, в порыве непонятной злобы поджигали помещичьи дома. Слуги покидали своих хозяев, которые их кормили, обували, одевали. Жажда социального переустройства захватила людей, уверовавших, что власть в стране теперь в руках рабочих и крестьян.

В «Неупиваемой Чаше» Шмелев высказал свою позицию по отношению к творившемуся в стране переустройству, переделу, грабежу, но высказал исподволь, завуалированно. С обличением советской власти громко и независимо Шмелев выступит лишь за границей, в эмиграции. В ноябре 1922 года он уедет якобы в творческую командировку и, убедившись, что сын его действительно расстрелян, откажется вернуться на Родину.

Самым пронзительным из шмелевских рассказов, посвященных российской катастрофе, по праву надо признать рассказ «Про одну старуху» (1924). Строгий критик эмиграции Георгий Адамович, недоброжелательно относившийся к творчеству Шмелева, и тот восхищался этим рассказом, сравнивая его по страстности, то есть по чуткости к человеческому страданию, с лучшими произведениями Ф. М. Достоевского. Одной страстностью этот лучший из рассказов Шмелева не исчерпывается. Здесь опять, как и в «Неупиваемой Чаше», рождается апокриф. Но, повествуя о чудотворной иконе, Шмелев расширил до размеров повести то, чего ему недоставало в подлинном свидетельстве об обретении образа. И само слово «апокриф» в данном случае становится синонимом выдумки, художественной фантазии. Рассказ «Про одну старуху» приближается именно к тем апокрифам, которые являются особым жанром древнерусской литературы.

Как художник Шмелев тяготеет не к тому, чтобы производить готовые философские суждения, – его философия заключается в образах, в изображаемом. Мир иной, потусторонний, с реальностью, непохожей на обычную земную, – вот что понадобилось писателю для этого страшного рассказа. Вся Россия, потеряв свою святость с приходом к власти большевиков, превратилась в понимании Шмелева в какое-то адское дно. Обычные законы человеческой морали теряют на этом пространстве, в инобытии, свою силу. Людей убивают, грабят, насилюют представители новой власти. Они даже никак не названы. Их страшно называть, будто поминать нечистого.

Героиня рассказа, старуха, вначале предстает как забитая женщина, заботящаяся о прокормлении голодных внучат. Ради достижения этой цели она не брезгает поклониться новой власти и принимает от нее корову, отнятую у бывших хозяев паточного завода. Старуха невольно делается соучастницей грабежа и насилия. Корова, подаренная старухе, напоминает мифических чудовищ, охраняющих вход в царство мертвых. Именно после эпизода с коровой старуха «переселяется» в качестве наказания в инобытие, в область мучений, мытарств. Из дальнейшего развития событий в рассказе становится ясно, кого олицетворяет собой старуха. Это не только какая-то одна, отдельная человеческая душа, караемая, наказуемая за порочную жизнь. Она – образ России, униженной и обезображенной до неузнаваемости.

Путешествие старухи из села Волокуши за мукой для внучат, собственно, и есть «хождение по мукам». Недаром Шмелев использует для описания старухиных мытарств свою

излюбленную сказовую манеру. Рассказчик нужен автору для создания определенной атмосферы. Читатель смотрит на происходящее уже глазами того, от чьего лица ведется повествование. Перед нами будто бы действительно кордоны красноармейцев, отнимающих муку, а будто бы и бесы, от которых надо откупаться добрыми делами, как в сказании о блаженной Феодоре, чья душа откупалась после смерти добрыми делами, вынимаемыми из мешочка. Избрав миф, апокриф, сказку для изображения определенной исторической реальности, для изображения страданий простого русского народа, Шмелев отразил эту реальность правдоподобнее, чем документальное свидетельство.

Послеревolutionный быт был настолько страшен, что невольно наводил на сопоставление с загробным воздаянием грешникам, с пытками в аду. Надо полагать, не одни апокрифы, наследство древнерусской литературы, служили подспорьем для Шмелева, когда ему нужны были образы для точного воссоздания русской трагедии. Финал рассказа «Про одну старуху» напоминает о величайшем создании европейской литературы – об «Аде», первой части «Божественной Комедии» Данте Алигьери. Шмелев приводит свою героиню к последнему пределу, в самую адскую бездну. Мешочников задерживает кордон. Красноармейцы, в него отчисленные, от постоянного употребления алкоголя потеряли всякое сходство с людьми. Среди этих нелюдей старуха встречает своего родного сына, которого считала погибшим в Первую мировую войну. Последние силы несчастной женщины, олицетворяющей Россию, тратятся на слова проклятия, которым она клеймит своего сына, предавшего ее. Сын, предавший мать, грабивший ее и родных детей, не выдерживает ужаса своей вины и стреляет себе в висок, кончает жизнь самоубийством, как Иуда, предавший Христа.

Иван Сергеевич в лице своей героини проклинал мучителей своего народа. Конечно, писатель желал, чтобы люди возмутились и, как один, произнесли слова проклятия новой власти, но его художественное слово было дальновиднее личных, человеческих желаний. Набраться смелости для проклятия могла лишь доведенная до отчаяния старуха, как мать, как воплощение уже не существующей России, могла проклясть и отойти в небытие. Народ же продолжал терпеть и как-то выживать, приспосабливаться к новым условиям.

Этот рассказ Шмелев не снабжает оптимистической концовкой. Но такая концовка у него появляется позднее. Она прозвучит в «Свете Разума», рассказе, который после его опубликования в 1927 году Иван Сергеевич пошлет философу И. А. Ильину. Так начнется их крепкая дружба. Не случайно Шмелев выбрал именно это произведение, чтобы завязать знакомство с известным русским философом, таким же эмигрантом, как и он сам, но живущем не в Париже, как писатель, а в Берлине. Название рассказа позаимствовано Шмелевым из рождественского тропаря: «Воссия мирови Свет Разума», в котором так образно именуется родившийся Христос. Но в понимании писателя это и дар разума, принесенный в мир с воплощением Бога Слова.

В письме Ильину он объясняет значение своего произведения: «Великая свобода дана нам, великая *carte blanche*⁷ – глубина безмерная: «Суббота – для человека!» И всякий меч, да, Крестом осиянный, направленный против Зла – сам – Крест! Правда – в людях, не книжная. К людям Христос пришел и не книжное принес, а – жизнь, именно – Свет Разума. Так я чувствую»⁸.

Ильин опровергал популярное среди старой интеллигенции учение Л. Н. Толстого, истолковавшего слова Христа как отрицание любого, даже необходимого, насилия. Философ убеждал, что в Евангелии сказано о наказуемости зла и необходимости ему сопротивляться. Эмигрантское общество раскололось на два лагеря. Одни обвиняли Ильина в пропо-

⁷ Свобода действий (*фр.*).

⁸ Ильин И. А. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. С. 15.

веди кнута, другие, в том числе Шмелев, держались взглядов философа, в защиту которых и был написан рассказ «Свет Разума».

Действительно, в «Свете Разума» Шмелев попытался проиллюстрировать, как в реальной жизни необходимо сопротивляться злу силой, необязательно мечом, оружием; в какой бы то ни было форме все же необходимо оказывать злу противодействие, не быть пассивным.

Перед нами отец дьякон, сражающийся с настоящим сектантом, которому покровительствуют большевики. Этот сектант, порочащий Церковь и агитирующий православных приходить причащаться у него на дому, совращает многодетного учителя Малова. Конечно, сектант Воронов не только по внешности напоминает беса – за ним так и закреплено это определение. Учитель, предав православную церковь, в праздник Богоявления вызывается публично совершить обряд вступления в секту – именно в то время, когда верующие пойдут крестным ходом освящать воду (поскольку описан Крым, то крест будут погружать в море).

И вот наконец решающий момент, кульминация рассказа «Свет Разума». Дьякон с привезенным иеромонахом после молебна на морской пристани не выдерживает позора для православия – пародии на таинство крещения. Он провозглашает не положенную по уставу анафему предателю учителю. Этот несчастный тяжело заболевает после погружения в ледяную воду, но, пообещав исповедать всенародно истинную веру, через неделю выздоравливает. Конец рассказа, просветленный, обнадеживающий, не повторяет завершающего эпизода в рассказе «Про одну старуху». Хотя важно отметить, что кульминация в обоих рассказах одна и та же: звучат слова проклятия отступникам от России, от родной веры, тем, кто предает, отдав себя во власть сатане.

Шмелев идет к светлым краскам в своем творчестве очень трудно, за плечами – неизгладимые воспоминания о залитом кровью большевистском Крыме, о родной Москве с измененным до неузнаваемости обликом. На отдыхе у океана, на юго-западе Франции, Москва вдруг ясно предстала перед глазами писателя в гряде пышных облаков, надвинувшихся на горизонт. Древняя столица напоминает теперь несуществующий призрачный город, она теперь видится ему недостижимым «Святым градом», Иерусалимом, но не земным городом, где был распят Спаситель мира и куда стремятся паломники поклониться Его Гробу. Это град небесный, в котором поселятся праведные души. Но это и град Китеж, спрятанный до времени от поругания на дно озера.

Описывая увезенную с собой в багаже памяти древнюю столицу в очерке «Город-призрак» из серии очерков «Сидя на берегу» (1925), Шмелев преисполнен надеждой, что когда-нибудь Господь вернет ему счастье увидеть Москву неопозоренной, в своем былом величии, в славе. Это Москва с крестными ходами, Москва богомольная. Оказывается, встреча с дорогим, с Родиной, возможно, не за горами. То, что затеняет светлый облик России, рассеется от пристального всматривания, вглядывания, и сами собой начнут проступать контуры давно забытого, утерянного.

Такому внимательному отношению учит шмелевская статья «Душа Родины» (1924). Русские эмигранты спорили о своей миссии в Европе. Возникали движения, призывавшие вернуться в Россию, служить народу. Были и такие, которые объединялись, чтобы вести подрывную деятельность в Советской России, надеясь, что в конце концов большевистский режим падет. Некоторые группировки сходились на том, что советский строй реорганизуется сам собой, что в нем есть здоровое зерно. Шмелев понимал, как трудно разобраться в путанице мнений и партий молодому поколению эмиграции, и его статья «Душа Родины» обращена, прежде всего, к новым, свежим силам, которым предстоит строить будущую Россию.

Писатель давал им возможность встретиться с подлинным ликом их Родины. Пытаясь объяснить, где находится настоящая Правда, Шмелев доказывает, насколько обманчивы демократические идеалы: свобода, равенство и братство. Свобода поступать по своей воле не есть истинная свобода, так как нарушает свободу другого человека и заковывает в раб-

ство своих желаний, а равенство и братство обращаются в пустой звук в коллективе, где все уравнивается по закону, – это насильственное братство и равенство. Другое дело – свобода во Христе, и равенство перед Богом, и любовь к ближнему ради того, что он такой же образ и подобие Божии. Здесь Шмелев не сказал ничего нового, повторив и философа В. С. Соловьева, и прозорливца Ф. М. Достоевского. Это было напоминанием. Свою миссию, как и миссию всей русской эмиграции, Шмелев тоже понимает в служении России реальной, той, которая покинута и куда нет дороги, нет возврата. И вне России можно творить для России, для ее спасения, возвращая своими произведениями подлинный лик Родины, потерянную Правду, а эта Правда состоит в познании Бога.

И вот в повести «Богомолье» (1931) на поиски правды отправляется из Москвы небольшая артель богомольцев. Они идут искать ответы на свои самые наболевшие вопросы не в народе – они направляются к Троице-Сергиевой лавре, где почивают мощами преподобный Сергей. Обитель, основанная в глухих подмосковных лесах на месте кельи молодого монаха, ставшего светочем Русской земли, привлекала к себе множество паломников. Все русские цари, наезжавшие в старую столицу для коронации или иных важных государственных дел, считали своим долгом остановиться на богомолье у Троицы. Не забывали обитель и писатели, цвет русской литературы XIX века, знали не понаслышке о монастыре преподобного Сергия.

В семье Шмелевых царил настоящий культ троицких старцев, к ним ездили благословляться перед началом важных дел, испрашивали совета. Предыстория событий, описанных Шмелевым в «Богомолье», восходит ко времени поселения прадедушки И. С. Шмелева в Москве. Звали этого легендарного прадеда тоже Иваном, он торговал щепным товаром на пару с неким Алексеевым. Шмелев сохранит в повести невыдуманную фамилию пайщика своего прадеда. Самым знаменательным, чудесным событием повести станет встреча потомков некогда вместе торговавших крестьян. Сын того Алексеева признает тележку, на которой едет правнук того самого Шмелева, признает и пригласит богомольцев погостить у себя.

Задействовано в повести еще одно историческое лицо – старец Варнава, которому Шмелев посвятил отдельный очерк («У старца Варнавы»). Духовные дети отзывались о своем батюшке Варнаве как о великом прозорливце, способном утешать любой душевный и телесный недуг. Старец равно мог утешить людей любого возраста и общественного положения. Подвиг старчества иеромонах Варнава принял на себя довольно рано и пользовался у простого народа огромной любовью за свою простоту в обращении, за внимательность, кротость, теплоту. К этому действительно Божью человеку отправляются из Москвы странники, герои шмелевской повести, каждый со своей нуждой и грехами.

На их примере Шмелев показывает, что из себя представляют истинные и ложные свобода, равенство и братство. Горкин, конюх Антипушка, хозяйский сынишка Ваня, банщица Домна Панферовна с внучкой Анютой и наследник богатого купца, паренек Федя, составляют один коллектив, но это не коллектив в понимании общественно-политическом – это паломническая артель. Уже в начале своего пути они ссорятся до того, что каждый оказывается сам по себе. Их способно объединить общее дело – цель их путешествия. Богомольцы как бы теряют свою личную свободу, добровольно подчиняются своему вожаку, Горкину.

Еще одной из форм равенства хвастается «царев брат», историю которого богомольцы слушают в Мытищах. Крестьянского сына и государя-императора Александра II выкормила одна русская женщина, и это молочное братство признавал сам государь.

Богатырского сложения купеческий сын Федя дарит свои новые сапоги человеку с отнявшимися ногами, не делая различия между собой и калекой. Он же примиряет Горкина и Домну Панферовну, искренне утверждая, что причиной ссоры явилось его будто бы предосудительное поведение: земляничку для молодки собирал. Юродивый, обвешанный замками,

мещанин, выпущенный из сумасшедшего дома, замыкает и отмыкает чужие грехи, так же как и Федя, но в ином роде берется понести наказания, положенные людям от Бога.

У ворот игрушечника Алексеева разыгрывается сцена узнавания стариком своей юношеской работы – чудо-тележки, после чего богомольцы, дотоле получившие отказ в постое, вдруг, как равные, принимаются хозяином великолепного дома с огромным садом.

Эти примеры внесоциального равенства, братства и свободы-освобождения приводятся Шмелевым, чтобы приготовить читателей к подлинному смирению себя ради ближних – это подвиг старчества. Отец Варнава действительно наделен даром от Бога брать на себя людские грехи, врачуя раны, нанесенные этими грехами.

У Шмелева старец воплощает собой преподобного Сергия. Он живет уединенно в келейке, подобно той, в которой до основания обширной обители подвизался «игумен вся Руси».

Показателен эпизод благословения мальчика Вани, когда иеромонах, умудренный духовным опытом, превращается рядом с ребенком в равного ему ребенка. Конечно, здесь сразу напрашивается любимое Шмелевым евангельское изречение: «...если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное»⁹. О батюшке Варнаве вспоминали, что ко всем, приходившим к нему, он обращался просто «сынок» или «дочка». Все для него были детьми, и даже император Николай II, благословленный старцем на мученический венец.

Особенной любовью проникается батюшка Варнава к Горкину, величая его ласково – «голубь». Загадку такого расположения приоткрывают поучения, оставленные старцем. Говорится в его наставлениях и о посте, и о молитве, особенно проникновенно сказано о покаянии. Человек всегда должен приходиться к Богу в сердечном сокрушении. Примером подлинного сокрушения для отца Варнавы был иеродьякон, учитель покаяния Ефрем Сирин, который, увидав женщину, рыдающую на могиле, сам расплакался, так как сравнил себя с этой безутешной вдовой. «Так бы и мы должны убиваться плачем о душе своей, которую мы уморили грехами своими и похоронили на чуждой ей земле страстей и похотей плотских»¹⁰.

Подобным даром покаяния обладает Горкин. В этом его «голубиность», он уподобляется птице чистой, символу Святого Духа, за внимание к своим грехам и за снисхождение к чужим. В его глазах оправданы грузный дьякон, страдающий чревоугодием, и певчие из приходской церкви, валяющиеся за мертвое пьяными, хотя и дьякон, и певчие, так же как и Горкин, идут к преподобному. Постоянное сердечное сокрушение подсказывает Горкину не считать себя выше кого бы то ни было. Это и есть образ равенства и братства во Христе. При встрече с отцом Вани игрушечник Алексеев произносит очень важные слова: «...все мы у Господа да у Преподобного родные».

Действительно, преподобный объединяет всех, как угодник Божий. Сцена у Золотого Креста в лавре недаром написана Шмелевым с таким внутренним подъемом: люди соединяются в общей молитве за калеку, парализованного крестьянина, они вдруг становятся одним целым, и это является настоящим чудом. И то, что болящий должен исцелиться по предсказанию старца Варнавы, – это результат настоящего единения, братства во Христе.

Н. И. Кульман, известный литературовед эмиграции, прочтя «Богомолье», печатавшееся в газете «Возрождение», пришел в неописуемый восторг и тут же заявил, что столь высокохудожественное произведение должно быть удостоено Нобелевской премии. Хотя Шмелева выдвигали на эту престижнейшую мировую премию наряду с Иваном Буниным, но шведы отклонили кандидатуру автора «Богомолья», поскольку за его соперником стояли более влиятельные особы. Тем не менее Шмелев не унывал: за свои произведения, приносящие людям свет и добро, провозглашающие незыблемые идеалы, он получал мешки писем

⁹ Евангелие от Матфея (Мф., 18, 3).

¹⁰ Сб. Великие, русские старцы. Ковчег. М., С. 19.

с благодарностью от читателей. Сам писатель признавался в конце жизни, что читательскую любовь он ставит выше мировых премий, именно ее считая подлинным критерием оценки своих произведений.

Шмелев всю свою жизнь страдал от посредственности, которую наблюдал вокруг себя, особенно в эмиграции. Его могли очаровать парижские улочки, заморозить необычность знаменитого собора Нотр-Дам, но сам стиль европейской жизни ему был глубоко чужд. И в противовес обществу, лишенному религиозных ценностей, он создал идеальных героев из «Неупиваемой Чашы», «Истории любовной», «Солдат», «Лета Господня», «Богомолья», «Путей небесных», из многих своих рассказов и очерков.

Л. Суровова

Повести



Богомолье

О, вы, напоминающие о Господе! не умолкайте...
Исаии, гл, 62, ст. 6



Царский золотой

Петровки¹¹, самый разгар работ, – и отец целый день на стройках. Приказчик Василь Василич и не ночует дома, а все в артелях. Горкин свое уже отслужил – «на покое», – и его тревожат только в особых случаях, когда требуется свой глаз. Работы у нас большие, с какой-то «неустойкой»: не кончишь к сроку – можно и прогореть. Спрашиваю у Горкина: «Это что же такое – прогореть?»

– А вот скинут последнюю рубаху – вот те и прогорел! Как прогорают-то... очень просто.

А с народом совсем беда: к покосу бегут домой, в деревню, и самые-то золотые руки. Отец страшно озабочен, спешит-спешит, летний его пиджак весь мокрый, пошли жары; Кавказка все ноги отмотала по постройкам, с утра до вечера не расседлана. Слышишь – отец кричит:

– Полуторное плати, только попридержи народ! Вот бедовый народишка... рядились, черти, – обещались не уходить к покосу, а у нас неустойки тысячные... Да не в деньгах дело, а себя уроним. Вбей ты им, дуракам, в башку... второе ведь у меня получают, чем со своих покосов!...

– Вбивал-с, всю глотку оборвал с ними... – разводит беспомощно руками Василь Василич, заметно похудевший, – ничего с ими не поделаешь, со спокон веку так. И сами пони-

¹¹ *Петро́вки* – Петровский пост, установленный Церковью в память апостолов Петра и Павла. День памяти их празднуется 12 июля (29 июня). Продолжительность поста зависит от дня празднования Троицы, за которой следует неделя сплошная (пост в среду и пятницу не полагается), а затем Петровки вплоть до 12 июля.

мают, а... гулянки им будто, травкой побаловаться. Как к покосу – уж тут никакими калачами не удержать, бегут. Воротятся – приналягут, а покуда сбродных попринаймем. Как можно-с, к сроку должны поспеть, будь-покойны-с, уж догляжу.

То же говорит и Горкин, – а он все знает: покос – дело душевное, нельзя иначе, со спокойн веку так; на травке поотдохнут – нагонят.

Ранним утром, солнце чуть над сараями, а у крыльца уже шарабан¹². Отец сбегает по лестнице, жуя на ходу калачик, прыгает на подножку, а тут и Горкин, чего-то ему надо.

– Что тебе еще?.. – спрашивает отец тревожно, раздраженно. – Какой еще незлад?

– Да все, слава богу, ничего. А вот, хочу вот к Сергию Преподобному сходить помолиться¹³, по обещанию... взад-назад.

Отец бьет вожжой Чалого и дергает на себя. Чалый взбрыкивает и крепко сечет по камню.

– Ты еще... с пустяками! Так вот тебе в самую горячку и приспичило? Помрешь – до Успенья погодишь?..¹⁴

Отец замахивается вожжой – вот-вот укатит.

– Это не пустяки – к Преподобному сходить помолиться... – говорит Горкин с укоризной, выпрастывая запутавшийся в вожже хвост Чалому. – Теплую бы пору захватить. А с Успенья ночи холодные пойдут, дожжи... уж нескладно итить-то будет. Сколько вот годов все собираюсь...

– А я тебя держу? Поезжай по машине¹⁵, в два дня управишься. Сам понимаешь, время горячее, самые дела, а... как я тут без тебя? Да еще, не дай бог, Косой запьянствует...

– Господь милостив, не запьянствует... он к зиме больше прошибается. А всех делов, Сергей Иванович, не переделаешь. И годы мои такие, и...

– А, помирать собрался?

– Помирать не помирать, это уж Божья воля, а... как говорится, – делов-то пуды, а она – туды!

– Как? Кто?.. Куды – туды?.. – спрашивает с раздражением отец, замахиваясь вожжой.

– Известно – кто. Она ждать не станет – дела ли, не дела ли, – а все покончит.

Отец смотрит на Горкина, на распахнутые ворота, которые придерживает дворник, прикусывает усы.

– Чу-дак... – говорит он негромко, будто на Чалого, машет рукой чему-то и выезжает шагом на улицу.

Горкин идет расстроенный, кричит на меня в сердцах: «Тебе говорю, отстань ты от меня, ради Христа!» Но я не могу отстать. Он идет под навес, где работают столяры, отшвы-

¹² *Шарабан* – одноконный, реже пароконный рессорный экипаж, двухколесный, без козел, с высоким сиденьем.

¹³ ...*Сергию преподобному сходить помолиться*... — Преподобный Сергей Радонежский (1314—1392) основал в XIV в. в глухих подмосковных лесах Троицкий мужской монастырь (впоследствии Троице-Сергиева лавра) и стал его первым игуменом. Родился святой Сергей в семье ростовских бояр, праведных Кирилла и Марии, его крестили Варфоломеем. Житие передает, что отроку не давалась грамота, пока в поле он не встретил чудесного старца. Варфоломеем поделился с ним своей бедой, и неизвестный старец уделил ему часть просфоры, съев которую мальчик вдруг начал самостоятельно читать Псалтирь. Кроме того, от старца родители будущего подвижника получили предсказание об избранности Богом их сына. Из Ростова семья будущего преп. Сергия переселилась в городок Радонеж под покровительство московских князей. Кирилл и Мария скончались, а их младший сын, давно мечтавший о пострижении в монахи, уединился в срубленной им в лесу келье, на месте которой со временем вырос монастырь в честь Святой Троицы. Скончался преп. Сергей Радонежский в 1392 г. Память его Церковь отмечает дважды в году: 8 октября (25 сентября), в день преставления, и 18 (5) июня, в день обретения мощей.

¹⁴ ...*до Успенья погодишь?*... — Имеется в виду Успенский пост. По строгости он приравняется к Великому посту, так как в него налагается запрет не только на мясо-молочную пищу, но и на рыбу. Название свое пост получил по празднику Успения Пресвятой Богородицы 28 (15) августа и установлен Церковью как приготовление к этому дню, соответственно и длится пост с 14 (1) по 28 (15) августа.

¹⁵ *Поезжай по машине*... — так называли вплоть до начала XX в. передвижение по железной дороге.

ривает ногой стружки и чурбачки и опять кричит на меня: «Ну чего ты пристал?..» Кричит и на столяров чего-то и уходит к себе в каморку. Я бегу в тупичок к забору, где у него окошко, сажусь снаружи на облицовку и спрашиваю все то же: возьмет ли меня с собой? Он разбирается в сундучке, под крышкой которого наклеена картинка – «Троице-Сергиева лавра», лопнувшая по щелкам и полинявшая. Разбирается и ворчит:

– Не-эт, меня не удержите... к Серги-Троице я уйду, к Преподобному... уйду. Все я да я... и без меня управитесь. И Ондрюшка меня заступит, и Степан справится... по филёнкам-то¹⁶ приглядеть – велико дело! А по подрядам сновать – прошла моя пора. Косой не запьянствует, нечего бояться... коли дал мне слово-зарок – из уважения соблюдёт. Как раз самая пора, теплынь, народу теперь по всем дорогам... Не-эт, меня не удержите.

– А меня-то... обещался ты, а?... – спрашиваю я его и чувствую горько-горько, что меня-то уж ни за что не пустят. – А меня-то, пустят меня с тобой, а?..

Он даже и не глядит на меня, все разбирается.

– Пустят тебя не пустят – это не мое дело, а я все равно уйду. Не-эт, не удержите... всех, брат, делов не переделаешь, не-эт... им и конца не будет. Пять годов, как Мартына схоронили, все собираюсь, собираюсь... Царица Небесная как меня сохранила, – показывает Горкин на темную иконку, которую я знаю, – я к Иверской сорок раз сходить пообещался, и то не доходил, осьмнадцать ходов за мной. И Преподобному тогда пообещался. Меня тогда и Мартын просил-помирал, на Пасхе как раз пять годов вышло вот: «Помолись за меня, Миша... сходи к Преподобному». Сам так и не собрался, помер. А тоже обещался, за грех...

– А за какой грех, скажи... – спрашиваю я Горкина, но он не слушает.

Он вынимает из сундучка рубаху, полотенце, холщовые портянки, большой привязной мешок, заплечный.

– Это вот возьму и это возьму... две сменки, да... И еще рубаху, расхожую, и причальную возьму, а ту на дорогу, про запас. А тут, значит, у меня сухарики... – пошумливает он мешочком, как сахарком, – с чайком попить – пососать, дорога-то дальная. Тут, стало быть, у меня чай-сахар... – сует он в мешок коробку из-под икры с выдавленной на крышке рыбой, – а лимончик уж на ходу прихвачу, да... ножичек, поминанье... – сует он книжечку с вытесанным на ней золотым крестиком, которую я тоже знаю, с раскрашенными картинками, как исходит душа из тела и как она ходит по мытарствам, а за ней светлый Ангел, а внизу, в красных языках пламени, зеленые нечистые духи с вилами, – а это вот, за кого просвирки¹⁷ вынуть, леестрик... все по череду надо. А это Сане Юрцову вареньица баночку снесу, в квасной послушание теперь несет, у Преподобного, в монахи готовится... от Москвы, скажу, поклончик-гостинчик. Бараночек возьму на дорожку...

У меня душа разрывается, а он говорит и говорит и все укладывает в мешок. Что бы ему сказать такое?..

– Горкин... а как тебя Царица Небесная сохранила, скажи?... – спрашиваю я сквозь слезы, хотя все знаю.

Он поднимает голову и говорит нестрого:

– Хлюпаешь-то чего? Ну, сохранила... я тебе не раз сказывал. На́ вот, утрись полотенчиком... дешевые у тебя слезы. Ну, ломали мы дом на Пресне... ну, нашел я на чердаке старую иконку, ту вон... Ну, сошел я с чердака, стою на втором ярусу... Дай, думаю, пооботру-погляжу, какая Царица Небесная, лика-то не видать. Только покрестился, локотком потереть хотел... ка-ак загремит все... ничего уж не помню, взвило меня в пыль!.. Очнулся в самом низу, в бревнах, в досках, все покорежено... а над самой над головой у меня здоро-

¹⁶ Филёнка – тонкая доска, вставляемая в какую-нибудь раму.

¹⁷ Просви́ра (просфо́ра) – квасной, замешанный на дрожжах хлеб, используемый на Божественной литургии (обедне). Имеет вид двух друг на друга положенных круглых лепешек (двусоставный) в ознаменование того, что Иисус Христос – Бог и человек, с отгиснутыми крестом и буквами IC XC NIKA (Христос побеждает).

венная балка застряла! В плюшку бы меня прямо!.. – вот какая. А робята наши, значит, кличут меня, слышу: «Панкратыч, жив ли?» А на руке у меня – Царица Небесная! Как держал, так и... чисто на крылах опустило. И не оцарапало нигде, ни царапинки, ни синячка... вот ты чего подумай! А это стену неладно покачнули – балки из гнезд-то и вышли, концы-то у них сгнили... как ухнут, так все и проломили, накаты все. Два яруса летел, с хламом... вот ты чего подумай!

Эту иконку – я знаю – Горкин хочет положить с собой в гроб, – душе чтобы во спасение. И все я знаю в его каморке: и картинку Страшного суда на стенке, с геенной огненной, и «Хождения по мытарствам преподобной Феодоры», и найденный где-то на работах, на сгнившем гробе, медный, литой, очень старинный крест с «Адамовой главой»¹⁸, страшной... и пасочницу¹⁹ Мартына-плотника, вырезанную одним топориком. Над деревянной кроватью, с подпалинами от свечки, как жгли клопов, стоят на полочке, к образам, совсем уже серые от пыли просвирки из Иерусалима-града и с Афона, принесенные ему добрыми людьми, и пузырьчики с напетым маслицем, с вылитыми на них угодничками. Недавно Горкин мне мазал зуб, и стало гораздо легче.

– А ты мне про Мартына все обещался... топорик-то у тебя висит вон! С ним какое чудо было, а? Скажи-и, Го-оркин!..

Горкин уже не строгий. Он откладывает мешок, садится ко мне на подоконник и жестким пальцем смазывает мои слезинки.

– Ну чего ты расстроился, а? Что ухажу-то... На доброе дело ухажу, никак нельзя. Вырастешь – поймешь. Самое душевное это дело – на богомолье сходить. И за Мартына помолюсь, и за тебя, милок, просвирку выну, на свечку подам, хороший бы ты был, здоровье бы те Господь дал. Ну куда тебе со мной тягаться, дорога дальняя, тебе не дойти... По машине вот можно, с папашенькой соберешься. Как так я тебе обещался?.. Я тебе не обещался. Ну, пошутил, может...

– Обещался ты, обещался!.. Тебя Бог накажет! Вот посмотри, тебя Бог накажет!.. – кричу я ему и плачу и даже грожу пальцем.

Он смеется, прихватывает меня за плечи, хочет защекотать.

– Ну что ты какой настойный, самондравный! Ну ладно, шуметь-то рано. Может, так Господь повернет, что и покатым с тобой по дорожке по столбовой... А что ты думаешь! Папашенька добрый, я его вот как знаю. Да ты погоди, послушай: расскажу тебе про нашего Мартына. Всего не расскажешь... а вот слушай. Чего сам он мне сказывал, а потом на моих глазах все было. И все сущая правда.

– Повел его отец в Москву на работу... – поокивает Горкин мягко, как все наши плотники, володимирцы и костромичи, и это мне очень нравится, ласково так выходит. – Плотники они были, как и я вот, с нашей стороны. Всем нам одна дорожка – на Сергиев Посад. К Преподобному зашли, чугунки²⁰ тогда и помину не было. Ну, зашли, все честь честью... помолились-приложились, недельку Преподобному пороботали топориком, на монастырь, да... пошли к Черниговской, неподалечку, старец там проживал – спасался. Нонче отец Варнава там народ утешает – басловляет²¹, а то до него был, тоже хороший такой, прозорливец. Вот тот старец благословил их на хорошую работку и говорит пареньку, Мартыну-то: «Будет

¹⁸ *Адамова глава* – составная часть композиции Распятия. В иконописи сюжет Распятия очень распространен. В центре изображен распятый на Кресте Спаситель, а по бокам – Богоматерь с Иоанном Богословом. Под Крестом часто помещают голову (череп) Адама, грех которого Христос искупил своей смертью на Кресте. По преданию, Крест был поставлен действительно над местом погребения Адама.

¹⁹ *Пасочница* – форма для приготовления пасхи, плотной творожной массы, перетертой с цукатами, орехами и т. п.

²⁰ *Чугунка* – так называли первую железную дорогу.

²¹ *Басловляет* – прост. от «благословляет».

тебе талан²² от Бога, только не проступись!» Значит – правильно живи смотри. И еще ему так сказал: «Ко мне-то побывай когда».

Роботали они хорошо, удачно, талан у Мартына великой стал, такой глаз верный, рука надежная... лучшего плотника и не видал я. И по столярному хорошо умел. Ну, понятно, и по филёнкам чистяга был, лучше меня, пожалуй. Да уж я те говорю – лучше меня, значит – лучше, ты не перебивай. Ну, отец у него помер давно, он один и стал в людях, сирота. К нам-то, к дедушке твоему покойному, Ивану Ивановичу, царство небесное, он много после пристал – порядился, а все по разным ходил – не уживался. Ну, вот слушай. Талан ему был от Бога... а он, темный-то... – понимаешь кто? – свое ему, значит, приложил: выучился Мартын пьянствовать. Ну, его со всех местов и гоняли. Ну, пришел к нам роботать, я его маленько поудержал, поразговорил душевно, – ровесники мы с ним были. Разговорились мы с ним, про старца он мне и помянул. Велел я ему к старцу тому побывать. А он и думать забыл – сколько годов прошло. Ну, побывал он, а – старец-то тот и помер уж, годов десять уж. Он и расстроился, Мартын-то, что не побывал-то, наказу его-то не послушал... совестью и расстроился. И с того дела к другому старцу и не пошел, а, прямо тебе сказать, в кабак пошел! И пришел он к нам назад в одной рваной рубашке, стыд глядеть... босой, топорик только при нем. Он без того топорика не мог быть. Топорик тот от старца благословен... вон он самый, висит-то у меня, память это от него мне, отказан. Уж как он его не пропил, как его не отняли у него – не скажу. При дедушке твоём было. Хотел Иван Иванович его не принимать, а прабабушка твоя Устинья вышла с лестовкой²³... молилась она все, правильная была по вере... и говорит: «Возьми, Ваня, грешника, приюти... его Господь к нам послал».

Ну взял. А она Мартына лестовкой поучила для виду, будто за наказание. Он три года и в рот не брал. Что получит – к ней принесет, за образа клала. Много накопил. Подошло ему опять пить, она ему денег не дает. Как разживется – все и пропьет. Стало его бесовать, мы его запирали. А то убить мог. Топор держит, не подступись. Боялся – топор у него покрадут, талан его пропадет. Раз в три года у него болезнь такая нападала. Запрет его – он зубами скрипит, будто щепу дерет, страшно глядеть. Силищи был невиданной... балки один носил, росту – саженный был. Боимся – ну, с топором убеет! А бабушка Устинья войдет к нему, погрозится лестовкой, скажет: «Мартынушка, отдай топорик, я его схороню!» – он ей покорно в руки, вот так.

Накопил денег, дом хороший в деревне себе построил, сестра у него жила с племянниками. А сам вдовый был, бездетный. Ну, жил и жил, с перемогами. Тройное получал! А теперь слушай про его будто грех...

Годов шесть тому было. Роботали мы по храму Христа Спасителя, от больших подрядчиков. Каменный он весь, а и нашей роботки там много было... помосты там, леса ставили, переводы-подводы, то-сё... обшивочки, и под куполом много было всякого подмостья. Приехал государь поглядеть, спорные были переделки. В семьдесят в третьем, что ли, годе, в августе месяце, тёпло еще было. Ну, все подрядчики по такому случаю артели выставили, показаться государю, царю-освободителю, Лександре Николаичу нашему. Придели робят в чистое во все. И мы с другими, большая наша была артель, видный такой народ... худого не скажу, всегда хорошие у нас харчи были, каши не поедали – отваливались. Вот государь посмотрел всю отделку, доволен остался. Выходит с провожатыми, со всеми генералами и князьями. И наш, стало быть, Владимир Ондреич, князь Долгоруков, с ними, генерал-губернатор. Очень его государь жаловал. И наш еще Лександра Лександрыч Козлов, самый обер-польцмейстер, бравый такой, дли-инные усы, хвостами, хороший человек, зря никого не

²² Талан – прост. от «талант».

²³ Лестовка – кожаные или тряпичные чётки, похожие на ленту в виде петли. На ленте расположено сто простых ступеней-узелочков. Использовалась на церковных службах в Древней Руси и затем, после раскола, старообрядцами. С помощью лестовки отсчитывают нужное количество молитв.

обижал. Ну, которые начальство при постройке – показывают робят, рабочий народ. Государь поздоровался, покивал, да... сияние от него такое, всякие медали... «Спасибо, – говорит, – молодцы!»

Ну, «ура» покричали, хорошо. К нам подходит. А Мартын первый с краю стоял, высокий, в розовой рубаше новой, борода седая, по сех пор, хороший такой ликом, благочестивый. Государь и приостановился, пондравился ему, стало быть, наш Мартын. «Хорош, – говорит, – старик... самый русской!» А Козлов-то князю Долгорукому и доложи: «Может государю его величеству глаз свой доказать, чего ни у кого нет». А он, стало быть, про Мартына знал. Роботали мы в доме генерал-губернатора, на Тверской, против каланчи, и Мартын князю-то секрет свой и доказал. А по тому секрету звали Мартына так: «Мартын, покажи аршин!»²⁴ А вот слушай. Вот князь и скажи государю, что так, мол, и так, может удивить. Папашенька перепугался за Мартына, и все-то мы забоялись – а ну проштрафится! А уж слух про него государю донесен, не шутки шутить. Вызывают, стало быть, Мартына. Государь ему и говорит, ничего, ласково: «Покажи нам свой секрет». – «Могу, – говорит, – ваше царское величество... – Мартын-то, – дозвоьте мне речечку». И не боится. Ну, дали ему речечку. «Извольте проверить, – говорит, – никаких помет нету». Генералы проверили – нет помет. Ну, положил он речечку ту, гладенькую, в пол-вершочка шириной, на доски, топорик свой взял. Все его обступили, и государь над ним встал... Мартын и говорит: «Только бы мне никто не помешал, под руку не смотрел... рука бы не заробела».

Велел государь маленько пораздаться, не наседать. Перекрестился Мартын, на руки поплевал, на речечку пригляделся, не дотрогнулся, ни-ни... а только так вот над ней пядью²⁵ помотал-помотал, привесился – р-раз топориком! – мету и положил, отсек. «Извольте, – говорит, – смерить, ваше величество».

Смерили аршинчиком клейменым – как влитой! Государь даже плечиками вскинул. «Погодите», – говорит Мартын-то наш. Провел опять пядью над обрезком – раз, раз, раз! – четыре четверти проложил-пометил. Смерили – ни на волосок прошибки! «И вершочки, – говорит, – могу». И проложил. «Могу, – говорит, – и до восьмушек». Государь взял аршинчик его, подержал время... «Отнесите, – говорит, – ко мне в покои сию диковинку и запишите в царскую мою книгу бесприменно!» Похвалил Мартына и дал ему из кармана в брюках: собоственный золотой! Мартын тут его и поцеловал, золотой тот. Ну, тут ему наклали князья и генералы кто целковый²⁶, кто трешну²⁷, кто четвертак²⁸... Попировали мы. А Мартын золотой тот царский под икону положил, навеки.

Ну, хорошо. Год не пил. И опять на него нашло. Ну, мы от него все поотобрали, а его заперли. Ночью он таки сбег. С месяц пропадал – пришел. Полез я под его образа глядеть – золотого-то царского и нет, про-опил! Стали мы его корить: «Царскую милость пропил!» Он божится: «Не может того быть!» Не помнит: пьяный, понятно, был. Пропил и пропил. С того сроку он и пить кончил. Станем его дражнить: «Царский золотой пропил, доказал свой аршин!» Он прямо побелеет, как не в себе. «Креста не могу пропить, так и против царского дару не проступлюсь!»

Помнил, чего ему старец наказывал – не проступись! А вышло-то – приступился будто. Ему не верят, а он на своем стоит. Грех какой! Ладно. Долго все тебе сказывать, другой раз много расскажу. И вот простудился он на ердани²⁹, закупался с немцем с одним, – я потом

²⁴ *Аршин* – русская мера длины, равная 71 см.

²⁵ *Пядь* – русская мера длины; равнялась расстоянию между вытянутыми большим и указательным пальцами. Быстро вышла из употребления и стала применяться в переносном значении.

²⁶ *Целковый* (от «целый») – рубль в одну монету.

²⁷ *Трешница* – трехрублевая золотая монета.

²⁸ *Четвертак* – четверть рубля, то есть 25 копеек.

²⁹ *Ердань* (искаж. от «иордань») – деревянная сень над прорубью в виде шатра с расписанным карнизом и крестом

тебе расскажу³⁰. Три месяца болел. На Великую субботу³¹ – мне и шепчет: «Помру, Миша... Старец-то тот уж позвал меня... „Что ж, – говорит, – Мартынушка, не побываешь?“» Во сне ему, стало быть, привиделся. «Дай-ка ты мне царский золотой... – говорит, – он у меня схоронён... а где – не могу сказать, затмение во мне, а он цел. Поищи ты, ради Христа, хочу поглядеть, порадоваться – вспомнать». И слова уж путает, затмение на нем. «Я, – говорит, – от себя в душу схоронил тогда... не может того быть, цел невредимо».

Это к тому он – не пропил, стало быть. Сказал я папашеньке, а он пошел к себе и выносит мне золотой. Велел Мартыну дать, будто нашли его, не тревожился чтобы уж для смерти. Дал я ему и говорю: «Верно сказывал: сыскался твой золотой».

Так он как же возрадовался – заплакал! Поцеловал золотой и в руке зажал. Соборовали³² его, а он и не разжимает руку-то, кулаком, вот так вот, с ним и крестился, с золотым-то, рукой его уж я сам водил. На третий день Пасхи помер хорошо, честь честью. Вспомнили про золотой, стали отымать, а не разожмешь, никак! Уж долотом развернули пальцы-то. А он прямо скипелся, влип в самую долонь³³, в середку, как в воск, закрайшкы уж не видно. Выковыряли мы, подняли... а в руке-то у него, на самой на долони, – оо-рел! Так и врезан, синий, отчетливый... царская самая печать. Так и не растаял, не разошелся, будто печать приложена, природная. Так мы его и похоронили, орленого. А золотой тот папашенька на сорокоуст³⁴ подать приказал, на помин души. Хорошо... Что ж ты думаешь!.. Через год случилось: стали мы полы в спальнях перестилать – и что ж ты думаешь!.. Под его изголовьем, где у него образок стоял... доски-то так подняли... на накате на черном... тот самый золотой лежит-светит!.. А?! Самый тот, царский, новешенькой-разновешенькой! Все сразу и признали. То ли он его обронил, как с-под иконы-то тащил пропивать, себя не помнил... то ли и в правду от себя спрятал, в щель на накат спустил... «в душу-то от себя схоронил», сказывал мне тогда, помирал... Тут уж он перед всеми и оправдался: не проступился, вот! И все так мы обрадовались, панихиду³⁵ с певчими по нем служили... хорошо было, весело так, «Христос воскрес» пели, как раз на Фоминой³⁶ вышло-то. Подали тот золотой па-пашеньке... подержал-подержал... «Отдать, – говорит, – его на церкву, на сорокоуст! Пускай, – говорит, – по народу ходит, а не лежит занапрасно... это, – говорит, – золотой счастливый, не пропащий!»

Так мне его желалось обменять, для памяти! Да подумал: пускай его по народу ходит, верно... зарочный он, не простой. И отдали. Так вот теперь и ходит по народу, нечужо. Ну как же его узнаешь?... нельзя узнать. Вот те и рассказал. Вот, значит, и пойду к Преподобному, зарок исполню, Мартына помяну... Ну вот... и опять захлюпал! А ты постой, чего я тебе скажу-то...

Я неутешно плачу. Жалко мне и Мартына, что он помер... так жалко! И что того золотого не узнаю, и что Горкин один уходит...

наверху. Сооружалась на Москве-реке перед Тайницкими воротами Кремля. В праздник Богоявления 19 (6) января патриарх или митрополит выходил на иордань совершать великое освящение воды, после чего некоторые верующие окунались в прорубь, будто бы в воды реки Иордан, в которых крестился Спаситель.

³⁰ Рассказ «Крещение», из кн. «Лето Господне». (Примеч. И. С. Шмелева.)

³¹ Великая суббота – предшествует непосредственно дню Пасхи и еще носит название Суббота покоя, когда христиане готовятся к встрече Воскресения Христова, а Церковь вспоминает событие погребения Спасителя и сошествие во ад.

³² Соборовать – то есть совершать одно из семи церковных таинств – соборование, или елеосвящение. Совершается собором священников, которые мажут больного освященным маслом (елеем) семь раз при чтении молитв, Апостола (книга деяний апостольских) и Евангелия.

³³ Долонь – прост. ладонь.

³⁴ Сорокоуст – молитвы о здравии либо упокоении, совершающиеся в течение сорока дней. Священник сорок литургий подряд вынимает частицы просвиры, называя имена живых или усопших.

³⁵ Панихида – служба, посвященная поминовению усопших; совершается после литургии.

³⁶ ...на Фоминой... – Имеется в виду Фомина неделя – так называется следующее после Пасхи воскресенье.

Приезжает отец – что-то сегодня рано, – кричит весело на дворе: «Горкин-старина!» Горкин бежит проворно, и они долго прохаживаются по двору. Отец веселый, похлопывает Горкина по спине, свистит и щелкает. Что-нибудь радостное случилось? И Горкин повеселел, что-то все головой мотает, трясет бородкой, и лицо ясное, довольное. Отец кричит со двора на кухню:

– Все к ботвинье³⁷, да поживей! Там у меня в кулечке, разберите!..

И обед сегодня особенный. Только сели, отец закричал в окошко:

– Горка-старина, иди с нами ботвинью есть! Ну-ну, мало что ты обедал, а ботвинья с белорыбицей не каждый день... не церемонься!

Да, обед сегодня особенный: сидит и Горкин, пиджачок надел свежий и голову намастил. И для него удивительно, почему это его позвали: так бывает только в большие праздники. Он спрашивает отца, конфузливо потягивая бородку:

– Это на знак чего же... парад-то мне?

– А вот понравился ты мне! – весело говорит отец.

– Я уж давно пондравился... – смеется Горкин, – а хозяин велит – отказываться грех.

– Ну вот и ешь белорыбицу.

Отец необыкновенно весел. Может быть, потому, что сегодня, впервые за столько лет, распустился белый, душистый такой цветочек на апельсиновом деревце, его любимом?

Я так обрадовался, когда перед обедом отец кликнул меня из залы, схватил под мышки, поднес к цветочку и говорит: «Ну, нюхай, нюня!»

И стол веселый. Отец сам всегда делает ботвинью. Вокруг фаянсовой белой, с голубыми закраинками миски стоят тарелочки, и на них все веселое: зеленая горка мелко нарезанного луку, темно-зеленая горка душистого укропу, золотенькая горка толченой апельсиновой цедры, белая горка струганого хрена, буро-зеленая – с ботвиньей, стопочка тоненьких кружочков, с зернышками, – свежие огурцы, мисочка льду хрустального, глыба белуги, в крупках, выпирающая горбом в разводах, лоскуты нежной белорыбицы, сочной и розовато-бледной, пленочки золотистого балычка с краснинкой. Все это пахнет по-своему, вязко, свежо и остро, наполняет всю комнату и сливается в то чудесное, которое именуется – ботвинья. Отец, засучив крепкие манжеты в крупных золотых запонках, весело все размешивает в миске, бухает из графина квас, шипит пузырьками пена. Жара: ботвинья теперь – как раз.

Все едят весело, похрустывают огурчиками, хрящами – хру-хру. Обсасывая с усов ботвинью, отец все чего-то улыбается... чему-то улыбается?

– Так... к Преподобному думаешь? – спрашивает он Горкина.

– Желается потрудиться... давно собираюсь... – смиренно-ласково отвечает Горкин, – как скажете... ежели дела позволят.

– Да, как это ты давеча?... – посмеивается отец. – «Делов-то пуды, а она – туды»?! Это ты правильно, мудрователь. Ешь, брат, ботвинью, ешь – не тужи, крепки еще гужи³⁸! Так когда же думаешь к Троице, в четверг, что ли, а? В четверг выйдешь – в субботу ко всенощной поспеешь.

– Надо бы поспеть. С Москвой считать – семь десятков верст. К вечерам можно поспеть и не торопиться... – говорит Горкин, будто уже они решили.

У меня расплывается в глазах: ширится графин с квасом, ширятся-растекаются тарелки, и прозрачные, водянистые узоры текут на меня волнами. Отец подымает мне подбородок пальцем и говорит:

– Чего это ты нюнишь? С хрену, что ль? Корочку понюхай.

³⁷ Ботвинья – холодное кушанье из кваса, вареной зелени (шпината) и рыбы.

³⁸ Гуж – элемент конной упряжи.

Мне делается еще больней. Чего они надо мной смеются! Горкин – и тот смеется. Гляжу на него сквозь слезы, а он подмаргивает, слышу – толкает меня в ногу.

– Может, и мы подведем... – говорит отец, – давно я не был у Троицы.

– Вот, хорошее дело, помолитесь!.. – говорит Горкин радостно.

– Мы-то по машине, а его уж... – глядит на меня отец, прищурясь, – бог с ним, бери с собой... пускай потрудится. С тобой отпустить можно.

Верить – не верить?..

– Уж будьте покойны, со мной не пропадет... радость-то ему какая! – радостно отвечает Горкин, и опять растекается у меня в глазах. Но это уже другие слезы.

– Ну, пусть так и будет. И Антипа с вами отпускаю... Кривую на подмогу, потащится. Устанет – поприсядет. Верно, брат... всех делов не переделаешь. И перодохнуть надо...

Верить – не верить?.. Я знаю: отец любит обрадовать.

Горкин моргает мне, будто хочет сказать, как давеча: «А что я те сказал! Папашенька добрый, я его вот как знаю!..»

Так вот о чем они говорили на дворе! И оттого стал веселый Горкин? И почему это так случилось?.. Я что-то понимаю, но не совсем. И почему все отец смеется, встряхивает хохлом и повторяет: «Всех делов, брат, не переделаешь... верно! Делов-то пуды, а она – туды!..»

Кто же это – она?..

Я что-то понимаю, но не совсем.

Сборы

И на дворе, и по всей даже улице известно, что мы идем к Сергию Преподобному, пешком. Все завидуют, говорят: «Эх, и я бы за вами увязался, да не на кого Москву оставить!» Все теперь здесь мне скучно, и так мне жалко, что не все идут с нами к Троице. Наши поедут по машине, но это совсем не то. Горкин так и сказал:

– Эка какая хитрость – по машине... А ты потрудись Угоднику, для души! И с машины – чего увидишь? А мы пойдем себе полегонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам, – всего увидим. Захотел отдохнуть – присел. А кругом все народ крещеный, идет-идет. А теперь земляника самая, всякие цветы, птички тебе поют – с машиной не поравнять никак.

Антипушка тоже собирается, ладит себе мешочек. Он сидит на овсе в конюшне, возится с сапогом. Показывает каблук, как хорошо набил.

– Я в сапогах пойду, как уж нога обыкла, – говорит он весело и все любит сапогом, как починил-то знатно. – Другие там лапти обувают, а то чуни для мягкости... а это для ноги один вред, кто непривычен. Кто в чем ходит – в том и иди. Ну, который человек лапти носит, ну... ему не годится в сапогах: ногу себе набьет. А который в сапогах – иди в сапогах. И Панкратыч в сапогах идет, и я в сапогах пойду, и ты ступай в сапожках, в расхожих самых. А новенькие уж там обуешь, там щегольнешь. Какое тебе папашенька уважение-то сделал!.. Кривую отпускает с нами! Как-никак, а уж доберешься. Это Горкин все за тебя старался: уж пустите с нами, уж доглядим, больно с нами идти охота. Вот и пустил. Больно парень-то ты артельный... А с машины чего увидишь!

– Это не хитро – по машине! – повторяю я с гордостью, и в ногах у меня звенит. – И Угоднику потрудиться, правда?

– Как можно! Он как трудился-то... тоже, говорят, плотничал, церкви строил. Понятно, ему приятно. Вот и пойдем.

Он укладывает в мешок «всю сбрую»: две рубахи – расхожую и парадную, новенькие портянки, то-сё.

Я его спрашиваю:

– А ты собираешься помирать? У тебя есть смёртная рубаха?

– Это почему же мне помирать-то, чего вздумал! – говорит он, смеясь. – Мне и всего-то на седьмой десяток восьмой год пошел. Это ты к чему же?

– А... у Горкина смёртная рубаха есть, и ее прихватывает в дорогу. Мало ли... в животе Бог... Как это?..

– А-а... вот ты к чему, ловкий какой!.. – смеется Антипушка на меня. – Да, в животе и смерти один Господь Бог волён, говорится. И у меня найдется похорониться в чем. У меня тоже рубаха неплохая, у Троицы надена, для причащения-приобщения, приведет Господь. А когда помереть кому – это один Господь может знать. Ты вон намедни мне отчитал избасню Крылову... как дуб-то вон сломило в грозу, а соломинке ничего!..

– Не соломинка, а – «Трость» называется!

– Это все равно. Тростинка, соломинка... Так и с каждым человеком может быть. Ну, еще чего отчитай, избасню какую.

Я говорю ему быстро-быстро «Стрекоза и Муравей» – и прыгаю. Он вдруг и говорит:

– Очень-то не пляши, напляшешь еще чего... ну-ка отдумают?..

Это нарочно он – попугать. Очень-то радоваться нельзя, я знаю: плакать бы не пришлось! Но будто и он боится: как бы не передумали. Утром он сказал Горкину: «Выбраться бы уж скорей, задержки бы какой не вышло». А ноги так и зудят, не терпится. Не было бы дождя?.. Антипушка говорит, что дождю не должно бы быть, – мухи гуляют весело, в конюшню не набиваются, и сегодня утром большая была роса в саду. И куры не обираются, и Бушуй не ложится на спину и не трется к дождю от блох. И все говорят, что погода теперь установилась, самая-то пора идти.

Господи, и Кривая с нами! Я забираюсь в денник³⁹, к Кривой, пролезаю под ее брюхом, а она только фыркает: привыкла. Спрашиваю ее в зрячий глаз, рада ли, что пойдет с нами к Преподобному? Она подымает ухо, шлепает мокрыми губами, на которых уже седые волосы, и тихо фырчит-фырчит – рада, значит. Пахнет жеваным теплым овсецом, молочным, – так сладко пахнет! Она обнюхивает меня, прихватывает губами за волосы – играет так. В чернозеркальном ее глазу я вижу маленького себя, решетчатое оконце стойла и голубка за мною. Я пою ей недавно выученный стишок: «Ну, тащися, сивка, пашней-десятиной... красавица зорька в небе загорелась...» Пою и похлопываю под губы – ну, тащися, сивка!.. А сам уже далеко отсюда. Идем по лужкам-полям, по тропочкам, по лесочкам... и много крещеного народу. «Красавица зорька в небе загорелась, из большого леса солнышко выходит...»

Ну, тащися, сивка!..

– Ну и затейник ты... – говорит Антипушка, – затейник!.. С тобой нам не скушно идти будет.

– Горкин говорит... молитвы всякие петь будем! – говорю я. – Так заведёно уж, молитвы петь... компанией, правда? А Преподобный будет рад, что и Кривая с нами, а? Ему будет приятно, а?..

– Ничего. Он тоже, поди, с лошадами хозяйствовал. Он и медведю радовался, медведь к нему хаживал... Он ему хлебца корочку выносил. Придет, встанет к сторонке под елку... и дожидается – покорми-и-и! Покормит. Вот и ко мне крыса ходит, не боится. Я и Ваську обучил, не трогает. В овес его положу, а ей свистну. Она выйдет с-под полу, а он только

³⁹ Денник – загон для лошади, в котором ее держат без привязи.

ухи торчком, жесткий станет весь, подрагивает, а ничего. А крыса тоже, на лапки встает, нюхается. И пойдет овес собирать. Лаской и зверя возьмешь, доверится.

Зовет Горкин:

– Скорей, папашенька под сараем, повозку выбираем!

Мелькает белый пиджак отца. Под навесом, где сложены сани и стоят всякие телеги, отец выбирает с Горкиным, что нам дать. Он советует легкий тарантасик, но Горкин настаивает, что в тележке куда спокойней, – можно и полежать, и беседочку заплести от солнышка, натывать березок-елок, и указывает легонькую совсем тележку – «как перышко!».

– Вот чего нам подходит. Сенца настелим, дерюжкой какой накроем – прямо тебе хоромы. И Кривой полегче, горошком за ней покатится.

Эту тележку я знаю хорошо. Она меньше других и вся в узорах. И грядки⁴⁰ у ней, и подуги⁴¹, и передок, и задок – все разделано тонкою резьбою: солнышками, колесиками, елочками, звездочками и разной затейной штучкой. Она ездила еще с дедушкой куда-то за Воронеж, где казаки, – красный товар⁴² возила. Отец говорит – стара. Да что-то ему и жалко. Горкин держится за тележку, говорит, что ей ничего не сделается: выстоялась и вся в исправности, только вот замочит колеса. На ней и годов не видно, и лучше новой.

– А не рассыплется? – спрашивает отец и встряхивает, берет под задок тележку. – Звонко поедете.

– Верно, что зазвониста, суховата. А легкая-то зато кака, горошком так и покатится.

И Антипушка тоже хвалит: береза, обстоялась, ее хошь с горы кидай. И Кривой будет в удовольствие, а тарантас заморит.

– Ну не знаю... – с сомнением говорит отец, – давно не ездила. А «лисица» как, не шатается?

Говорят, что и «лисица» крепкая, не шелохнется в гнездах, как впаяна. Очень чудно – «лисица». Я хочу посмотреть «лисицу», и мне показывают круглую, как оглобля, жердь, крепящую передок с задком. Но почему – лисица? Говорят – кривая, лесовая, хитрущая самая вещь в телеге, часто обманывает, ломается.

Отец согласен, но велит кликнуть Бровкина, осмотреть.

Приходит колесник Бровкин, с нашего же двора. Он всегда хмурый, будто со сна, с мохнатыми бровями. Отец зовет его – «недовольный человек».

– Ну-ка, недовольный человек, огляди-ка тележку, хочу к Троице с ними отпустить.

Колесник не говорит, обхаживает тележку, гукает. Мне кажется, что он недоволен ею. Он долго ходит, а мы стоим. Начинает шатать за грядки, за колеса, подымает задок, как перышко, и бросает сердито, с маху. И опять чем-то недоволен. Потом вдруг бьет кулаком в лубок, до пыли. Молча срывает с передка, сердито хрипит: «Пускай!» – и опрокидывает на кузов. Бьет обухом в задок, садится на корточки и слушает: как удар? Сплевывает и морщится. Слышу, как будто – ммдамм!.. – и задок уже без колес. Колесник оглаживает оси, стучит в обрезы, смотрит на них в кулак и вдруг – ударяет по «лисице». У меня сердце ёкает – вот сломает! Прыгает на «лисицу» и мнет ее. Но «лисица» не подает и скрипу. И все-таки я боюсь, как бы не расхулил тележку. И все боятся, стоят – молчат. Опять ставит на передок, оглаживает грядки и гукает. Потом вынимает трубочку, наминает в нее махорки, даже и не глядит, а все на тележку смотрит. Раскуривает долго, и кажется мне, что он и через спичку смотрит. Крепко затягивается, пускает зеленый дым, делает руки самоваром и грустно качает головой.

⁴⁰ *Грядки* – две прямые жерди, которые крепятся к бокам телеги, сверху и снизу.

⁴¹ *Подуги* (дыги) – часть конской упряжи. Изготавливаются из круто изогнутого ствола дерева. В телеге крепятся к грядкам.

⁴² *Красный товар* – изделие высокого качества, изготовленное на фабричной мануфактуре.

Отец спрашивает, прищурясь:

– Ну как, недовольный человек, а? Плоха, что ли?

Спрашивает и Горкин, и голос его сомнительный:

– А, как по-твоему? Ничего тележка... а?

Колесник шлепает вдруг по грядке, словно он рассердился на тележку, и взмахивает на нас рукою с трубкой:

– И где ее де-елали такую?! Хошь в Киев – за Киев поезжайте – сносу ей довеку не будет, – вот вам и весь мой сказ! Слажена-то ведь ка-ак, а!.. Что значит на совесть-то делана... а? Бы-или мастера... Да разве это тележка, а?... – смотрит он на меня чего-то. – Не тележка это, а... детская игрушка! И весь разговор.

Так все и просияли. Наказал – шкворень⁴³ разве переменить? Да нет, не стоит, живет и так. Даже залез в оглобли и выкатил на себе тележку. Ну прямо перышко!

– На такой ездить жалко, – говорит он, не хмурясь. – Ты гляди, мудровал-то как! За одной резьбой, может, недели три проваландался... А чистота-то, а ровнота-то какая, а! Знаю, тверской работы... пряники там пекут рисованы. А дуга где?

Находят дугу, за санками. Все глядят на дугу: до того вся рисована! Колесник вертит ее и так, и эдак, оглаживает и колупает ногтем, проводит по ней костяшками, и кажется мне, что дуга звенит – рубчиками звенит.

– Кружева! Только молодым кататься, пощеголять. Картина писаная!..

К нам напрашиваются в компанию – веселей идти будет, но Горкин всем говорит, что идти не заказано никому, а веселиться тут нечего, не на ярманку собрались. Чтобы не обидеть, говорит:

– Вам с нами не рука, пойдем тихо, с пареньком, и четыре дня, может, протянемся, лучше уж вам не связываться.

Пойдет с нами Федя, с нашего двора, бараночник. Он из себя красавец, богатырь парень, кудрявый и румяный. А главное – богомольный и согласный, складно поет на клиросе⁴⁴, и характер у него – лён. С ним и в дороге поспокойней. Дорога дальняя, все лесами. Идти не страшно, народу много идет, а бывает – припоздаешь, удержишься... а за Рохмановом овраги пойдут, мосточки, перегоны глухие, – с возов сколько раз срезали. А под Троицей Убитиков овраг есть, там недавно купца зарезали. Преподобный поохранит, понятно... да береженого и Бог бережет.

Еще с нами идет Домна Панферовна, из бань. Очень она большая, «сырая» – так называет Горкин, – с ней и проканителишься, да женщина богомольная и обстоятельная. С ней и поговорить приятно, везде ходила. Глаза у ней строгие, губа отвисла, и на шее мешок от жира. Но она очень добрая. Когда меня водили в женские бани, она стригла мне ноготки и угощала моченым яблочком. Я знаю, что такого имени нет – Домна Панферовна, а надо говорить – Домна Парфеновна, но я не мог никак выговорить, и всем до того понравилось, что так и стали все называть – Панферовна. А отец даже напевал – Панферовна! Очень уж была толстая, совсем – Панферовна. Она и пойдет с нами, и за мною поприглядит, все-таки женский глаз. Она и костоправка, может и живот поправить, за ноги как-то встряхивает. А у Горкина в ноге какая-то жила отымается, заходит, – она и выправит.

С ней пойдет ее внучка – учится в белошвейках, – старше меня, тихая девочка Анюта, совсем как куколка, – все только глазками хлопает и молчит, и щечки у ней румяно-белые. Домна Панферовна называет ее за эти щечки – «брусничка ты моя беленькая-свеженькая».

Напрашивался еще Воронин-булочник, но у него «слабость» – запивает, а человек хороший, три булочных у него, обидеть человека жалко, а взять – намаешься. Подсылали

⁴³ Шквóрень (искаж. от «швóрень») – болт, на который насажен передок телеги.

⁴⁴ Клы́рос – искаж. «клирос», место, где располагается хор в храме.

к нему Василь Василича – к Николе на Угрешу молиться звать, там работа у нас была, но Воронин и слушать не хотел. Хорошо – брат приехал и задержал, и поехали они на Воробьевку, к Крынкину, на Москву посмотреть. Мы уж от Троицы вернулись, а они все смотрели. Господь отнес.

К нам приходят давать на свечи и на масло Угоднику и просят вынуть просвирки, кому с Троицей на головке, кому – с Угодником. Все надо записать, сколько с кого получено и на что. У Горкина голова заходится, и я ему помогаю. Святые деньги, с записками, складываем в мешочек. Есть такие, что и по десяти просвирок заказывают, разных, – и за гривенник, и за четвертак даже. Нам одним – прикинул на счетах Горкин – больше ста просвирок придется вынуть – и родным, и знакомым, а то могут обидеться: скажут – у Троицы были, а «милости» и не принесли.

Антипушка уже мыл Кривую и смазал копытца дочерна – словно калошки новые. Приходил осмотреть кузнец, в порядке ли все подковы и как копыта. Тележка уже готова, колеса и оси смазаны, – и будто дорогой пахнет. Горкин велит привернуть к грядкам пробойчики, поаккуратней как, – ветки воткнем на случай, беседочку навесим – от солнышка либо от дождичка укрыться. Положен мешок с овсом, мягко набито сеном, половичком накрыто – прямо тебе постеля! Сшили и мне мешочек, на полотенчике, как у всех. А посошок вырежем в дороге, ореховый: Сокольниками пойдем, орешнику там... каждый себе и выберет.

Все осматривают тележку, совсем готовую, – поезжай. Господь даст, завтра пораньше выйдем, до солнышка бы Москвой пройти, по холодочку. Дал бы только Господь хорошую погоду завтра!

Мне велят спать ложиться, а солнышко еще и не садилось. А вдруг без меня уйдут? Говорят: спи, не разговаривай, уж пойдешь. Потому и Кривая едет. Я думаю, что верно. Говорят: Горкин давно уж спит и Домна Панферовна храпит, послушай.

Я иду проходной комнаткой к себе. Домна Панферовна спит, накрывшись, совсем – гора. Сегодня у нас ночует: как бы не запоздать да не задержать. Анюта сидит тихо на сундуке, говорит мне, что спать не может, все думает, как пойдем. Совсем как и я – не может. Мне хочется поугадать ее, рассказать про разбойников под мостиком. Я говорю ей шепотом. Она страшно глядит круглыми глазами и жмется к стенке. Я говорю – ничего, с нами Федя идет большой, всех разбойников перебьет. Анюта крестится на меня и шепчет:

– Воля Божья. Если что кому на роду написано – так и будет. Если надо зарезать – и зарежут, и Федя не поможет. Спроси-ка бабушку, она все знает. У нас в деревне старика одного зарезали, отняли два рубля. Против судьбы не пойдешь. Спроси-ка бабушку... она все знает.

От ее шепота и мне делается страшно, а Домна Панферовна так храпит, будто ее уже зарезали. И начинается уже темнеть.

– Ты не бойся, – шепчет Анюта, озираясь, зачем-то сжимает щечки ладошками и хлопает все глазами, боится будто, – молись великомученице Варваре. Бабушка говорит, – тогда ничего не будет. Вот так: «Святая великомученица Варвара, избави меня от напрасных смерти, от часа ночного обстоянного»... от чего-то еще?... Ты спроси бабушку, она все...

– А Горкин, – говорю я, – больше твоей бабушки знает! Надо говорить по-другому... Надо – «всякаго обуревания, и навета, и обстояния... избавь и спаси на пути-дороге, и на постое, и на... ходу!». Горкин все знает!

– А моя бабушка костоправка, и животы правит, и во всяких монастырях была... Горкин умный старик, это верно... и бабушка говорит... У бабушки ладанка⁴⁵ из Иерусалима с косточкой... от мощей... всегда на себе носит!

⁴⁵ Ладанка – небольшой мешочек с ароматической смолой, талисманом или каким-нибудь снадобьем, который носят

Я хочу поспорить, но вспоминаю, что теперь грех, – душу надо очистить, раз идем к Преподобному. Я иду в свою комнатку, вижу шарик от солитера⁴⁶, хрустальненький, с разноцветными ниточками внутри... и мне вдруг приходит в голову удивить Анюту. Я бегу к ней на цыпочках. Она все сидит, поджавши ноги, на сундуке. Я спрашиваю ее, почему не спит. Она берет меня за руку и шепчет: «Бою-усь... разбойников бою-усь...» Я показываю ей хрустальный шарик и говорю, что это волшебный и даже святой шарик... будешь держать в кармане – и ничего не будет! Она смотрит на меня, правду ли говорю, и глаза у ней будто просят. Я отдаю ей шарик и шепчу, что такого шарика ни у одного человека нет, только у меня и есть. Она прячет его в кармашек.

Я не могу заснуть. На дворе ходят и говорят. Слышен голос отца и Горкина. Отец говорит: «Сам завтра провожу, мне надо по делам рано!» Лежу и думаю, думаю, думаю... о дороге, о лесах и оврагах, о мосточках... где-то далеко-далеко – Угодник, который теперь нас ждет. Все думаю, думаю – и вижу... и во мне начинает петь, будто не я пою, а что-то во мне поет, в голове, такое светлое, розовое, как солнце, когда его нет на небе, но оно вот-вот выйдет. Я вижу леса-леса и большой свет над ними, и все поет, в моей голове поет:

Красавица зорька...
В небе за-го-ре...лась...
Из большого ле...са...
Солнышко-о... выходит...

Будто отец поет?..
Кричат петухи. Окна белеют в занавесках. Кричат на дворе. Горкин распоряжается:
– Пора закладывать... Федя, здесь?.. Час нам легкой, по холодку и тронемся, Господи, благослови...

Отец кричит – знаю я – из окна сеней:
– Пора и богомольца будить! Самовар готов?.. До того я счастлив, что слезы набегают в глазах.

Заря – и сейчас пойдем! И отдается во мне чудесное, такое радостное и светлое, с чем я заснул вчера, певшее и во сне со мною, слетающее теперь за окнами, —

Красавица зо-рька
В небе за-го-ре...лась...
Из большого ле...са
Солнышко-о выходит...

Москвой

Из окна веет холодком зари. Утро такое тихое, что слышно, как бегают голубки по крыше и встряхивается со сна Бушуй. Я минутку лежу, тянусь; слушаю – петушки поют, голос Горкина со двора, будто он где-то в комнате:

– Тяжи-то бы подтянуть, Антипушка... да охачку бы сенца еще!
– Маленько подтянуть можно. Погодку-то дал Господь...

на груди. В ладанках также хранят частички мощей, молитвы или другие священные предметы.

⁴⁶ *Солитёр* – крупный бриллиант, вкрапленный в ювелирное изделие.

– Хорошо, жарко будет. Кака роса-то – крыльцо все мокрое. Бараночек, Федя, прихватил?.. Это вот хорошо с чайком.

– Покушайте, Михал Панкратыч, только из печи выкинули.

Слышно, как ломают они бараночки и хрустят. И будто пахнет баранками. Все у крыльца, за домом. И Кривая с тележкой там, подковками чокает о камни. Я подбегаю к окошку крикнуть, что я сейчас. Веет радостным холодком, зарей. Вот какая она, заря-то!

За Барминихиным садом небо огнистое, как в пожар. Солнца еще не видно, но оно уже светит где-то. Крыши сараев в бледно-огнистых пятнах, как бывает зимой от печки. Розовый шест скворешника начинает краснеть и золотиться, и над ним уже загорелся прутик. А вот и сарай золотятся. На гребешке амбара сверкают крыльями голубки, вспыхивает стекло под ними: это глядится солнце. Воздух пахнет как будто радостью.

Бежит с охалкой сенца Антипушка, захлопывает ногой конюшню. На нем черные, с дегтя, сапоги – а всегда были рыжие, – желтый большой картуз и обвислый пиджак из парусины, Василь Василича, «для жары»; из кармана болтается веревка.

– Дегтянку-то бы не забыть!.. – заботливо окликает Горкин. – Поилка, торбочка... ничего словно не забыли. Чайку по чашечке – да и с Богом. За Крестовской, у Брехунова, как следует напьемся, не торопясь, в садочке.

И я готов. Картузик на мне соломенный, с лаковым козырьком; суровая рубашка, с петушками на рукавах и вороте; расхожие сапожки, чтобы ноге полегче, новые там надены. Там... Вспомнишь – и дух захватит. И радостно, и... не знаю что. Там – все другое, не как в миру... Горкин рассказывал: церкви всегда открыты, воздух – как облака, кафельный... и все поют: «И-зве-ди из темницы ду-шу моюуу!..» Прямо душа отходит.

Пьем чай в передней, отец и я. Четыре только прокуковало. Двери в столовую прикрыты, чтобы не разбудить. Отец тоже куда-то едет: на нем верховые сапоги и куртка. Он пьет из граненого стакана пунцовый чай, что-то считает в книжечке, целует меня рассеянно и строго машет, когда я хочу сказать, что наш самовар стал розовый. И передняя розовая стала, совсем другая!

– Поспеешь, ногами не сучи. Мажь вот икорку на калачик.

И все считает: «Семь тыщ дерев... да с новой рощи... ну, двадцать тыщ дерев...» Качается над его лбом хохол, будто считает тоже. Я глотаю горячий чай, а часы-то стучат-стучат. Почему розовый пар над самоваром, и скатерть, и обои?.. Темная горбатая икона «Страстей Христовых» стала как будто новой, видно на ней распятие. Вот отчего такое... За окном – можно достать рукой – розовая кирпичная стена, и на ней полоса от солнца; оттого-то и свет в передней. Никогда прежде не было. Я говорю отцу:

– Солнышко заглянуло к нам!

Он смотрит рассеянно в окошко, и вот – светлеет его лицо.

– А-а... да, да. Заглянуло в проулок к нам.

Смотрит – и думает о чем-то.

– Да... дней семь-восемь в году всего и заглянет сюда к нам в щель. Дедушка твой, бывало, все дожидался, как долгие дни придут... чай всегда пил тут с солнышком, как сейчас мы с тобой. И мне показывал. Маленький я был, забыл уж. А теперь я тебе. Так вот все и идет... – говорит он задумчиво. – Вот и помолились за дедушку.

Он оглядывает переднюю. Она уже тусклеет, только икона светится. Он смотрит над головой и напевает без слов любимое: «Кресту Твоему... по-клоня-емя, Влады-ыко-о...» Солнышко уползает со стены.

В этом скользющем свете, в напеве грустном, в ушедшем куда-то дедушке, который видел то же, что теперь вижу я, чувствуется смутной мыслью, что все уходит... уйдет и отец, как

этот случайный свет. Я изгибаю голову, слежу за скользящим светом... вижу из щели небо, голубую его полоску между стеной и домом... и меня заливают радостью.

– Ну, заправился? – говорит отец. – Помни: слушаться Горкина. Мешочек у него с мелочью, будет тебе выдавать на нищих. А мы, Бог даст, догоним тебя у Троицы.

Он крестит меня, сажает к себе на шею и сбегает по лестнице.

На дворе весело от солнца, свежее. Кривая блестит, словно ее наваксили; блестит и дуга, и сбруя, и тележка, новенькая совсем, игрушечка. Горкин – в парусиновой поддевке, в майском картузике набочок, с мешком, румяный, бодрый, борода – как серебро. Антипушка – у Кривой, с вожжами. Федя – по-городскому, в лаковых сапогах, словно идет к обедне; на боку у него мешок с подвязанным жестяным чайником. На крыльце сидит Домна Панферовна, в платочке, с отвислой шеей, такая красная, – видно, ей очень жарко. На ней серая тальма⁴⁷ балахоном, с висюльками, и мягкие туфли-шлепанки; на коленях у ней тяжелый ковровый саквояж и белый пузатый зонт. Анюта смотрит из-под платочка куколкой. Я спрашиваю, взяла ли хрустальный шарик. Она смотрит на бабушку и молчит, а сама щупает в кармашке.

– Матерьял сдан, доставить полностью! – говорит отец, сажая меня на сено.

– Будьте покойны, не рассыпем, – отвечает Горкин, снимает картуз и крестится. – Ну, нам час добрый, а вам счастливо оставаться, по нам не скучать. Простите меня, грешного, в чем согребил... Василь Василичу поклончик от меня скажите.

Он кланяется отцу, Марьюшке-кухарке, собравшимся на работу плотникам, скорнякам, ночевавшим в телеге на дворе, вылезающим из-под лоскутного одеяла, скребущим головы, и тихому в этот час двору. Говорят на разные голоса: «Час вам добрый», «Поклонитесь за нас Угоднику». Мне жаль чего-то. Отец шурится, говорит: «Я еще с вами штуку угоню!» – «Прокурат известный!» – смеется Горкин, прощается с отцом за руку. Они целуются. Я прыгаю с тележки.

– Пускай его покрасуется маленько, а там посадим, – говорит Горкин. – Значит, так: ходу не припуцай, по мне трафься. Пойдем полегоньку, как богомолы ходят, и не уморимся. А ты, Домна Панферовна, уж держи фасон-то.

– Сам-то не оконфузься, батюшка, а я котышком покачусь. Саквояжик вот положу, пожалуй.

Из сеней выбегает Трифоныч, босой, – чуть не проспал проститься, – и сует посылочку для Сани, внука, послушником у Троицы. А сами с бабушкой по осени побывают, мол... торговлишку, мол, нельзя оставить, пора рабочая самая.

– Ну, Господи, благослови... пошли!

Тележка гремит-звенит, попрыгивает в ней сено. Все высыпает за ворота. У Ратникова, напротив, стоит на тротуаре под окнами широкая телега, и в нее по лотку спускают горячие ковриги хлеба; по всей улице хлебный дух. Горкин велит Феде прихватить в окошко фунтика три-четыре сладкого, за Крестовской с чайком заправимся. Идем не спеша, по холодочку. Улица светлая, пустая; метут мостовую дворники, золотится над ними пыль. Едут решета на дрожинах⁴⁸: везут с Воробьевки на Болото первую ягоду – сладкую русскую клубнику, дух по всей улице. Горкин окликает: «Почем клубника?» Отвечают: «По деньгам! Приходи на Болото, скажем!» Горкин не обижается: «Известно уж, воробьевцы... народ зубастый».

⁴⁷ Тальма – длинная накидка без рукавов.

⁴⁸ Дрожины – самые простые дрожки, повозка, состоящая из одной плоской доски, на которую садились верхом или боком.

На рынке нас нагоняет Федя, кладет на сено угол теплого сладкого, в бумажке. У бассейны⁴⁹ Кривая желает пить. На крылечке будки, такой же сизой, как и бассейна, на середине рынка, босой старичок в розовой рубахе держит горящую лучину над самоварчиком. Неужели это Гаврилов, бутোшник⁵⁰? Но Гаврилов всегда с медалями, в синих штанах с саблей, с черными жесткими усами, строгий. А тут – старичок, как Горкин, в простой рубахе, с седенькими усами, и штаны на нем ситцевые, трясутся, ноги худые, в жилках, и ставит он самоварчик, как все простые. И зовут его не Гаврилов, а Максимыч. Пока поит Антипушка, мы говорим с Максимычем. Он нас хвалит, что идем к Троице-Сергию, – «дело хорошее», – говорит, сует пылающую лучину в самоварчик и велит погодить маленько – гривенничек на свечки вынесет. Горкин машет: «Че-го, сочтемся!» – но Максимыч отмахивается: «Не-е, это уж статья особая», – и выносит два пятака. За один – Преподобному поставить, а другой... «выходит, что на канун... за упокой души воина Максима». Горкин спрашивает: «Так и не дознались?» Максимыч смотрит на самоварчик, чешет у глаза и говорит невесело:

– Обер проезжал намедни, подозвал пальцем... помнит меня. Говорит: «Не надейся, Гаврилов, к сожалению... все министры все бумаги перетряхнули – и следу нет!» Пропал под Плевной. В августе месяце два года будет. А ждали со старухой. Охотником пошел. А место какое выходило, Городской части... самые Ряды, Ильинка...

Горкин жалеет, говорит: «Живот положил... молиться надо».

– Не воротишь... – говорит в дым Максимыч, над самоварчиком.

А я-то его боялся раньше.

Слышу, кричит отец, скачет на нас Кавказкой:

– Богомольцы, стой! Ах, Горка... как мне, брат, глаз твой нужен! Рощи торгую у Васильчиковых, в Коралове... делянок двадцать. Как бы не обмишультиться!

– Вот те раз... – говорит Горкин растерянно, – давеча-то бы сказали!.. Как же теперь... дороги-то наши разные?..

– Ползите уж, обойдусь. Не хнычешь? – спрашивает меня и скачет к Крымку, налево.

– На́ вот, не сказал давеча! – всплескивает руками Горкин. – Под Звенигород поскакал. Ну, горяч!.. Пожалуй, и к Савве Преподобному⁵¹ доспеет.

Я спрашиваю, почему теперь у Гаврилова усы седые и он другой.

– Рано, не припарадился. А то опять бравый будет. Иначе ему нельзя.

Якиманка совсем пустая, светлая от домов и солнца. Тут самые раскупцы, с Ильинки. Дворники, раскорячив ноги, лежат на воротных лавочках, бляхи на них горят. Окна вверху открыты, за ними тихо.

– Домна Панферовна, жива?..

– Жи-ва... сам-то не захромай... – отзывается Домна Панферовна с одышкой.

Катится вперевалочку, ничего. Рядом, воробушком, Анята с узелочком, откуда глядит калачик. Я – на сене, попрыгиваю, пою себе. Попадаются разношники с Болота, несут зеленый лук молодой, красную, первую, смородинку, зеленый крыжовник аглицкий – на варенье. Едут порожние ломовые, жуют ситный⁵², идут белые штукатуры и маляры с кистями, подходят к трактирам пышечники.

⁴⁹ *Басейна* – так на языке московских дворников и водовозов звучало слово «бассейн», обозначающее специальный резервуар для хранения воды.

⁵⁰ *Бутошник* – московский будочник. Так называли городских постовых, дежуривших с алебардой (топориком) при будке, в которой обычно он жил с семьей.

⁵¹ *Савва Преподобный* – Савва Сторожевский (1327—1407), основатель Саввино-Сторожевского монастыря близ г. Звенигорода, ученик преп. Сергия Радонежского.

⁵² *Ситный* – хлеб, испеченный из муки, просеянной сквозь сито.

Часовня Николая Чудотворца, у Каменного моста, уже открылась, заходим приложиться, кладем копеечки. Горкин дает мне из моего мешочка. Там копейки и грошики⁵³. Так уж всегда на богомолье – милостыньку дают, кто просит. На мосту Кривая упирается, желает на Кремль глядеть: приучила так прабабушка Устинья. Москва-река – в розовом туманце, на ней рыболовы в лодочках, подымают и опускают удочки, будто водят усами раки. Налево – золотистый, легкий, утренний храм Спасителя, в ослепительно золотой главе: прямо в нее бьет солнце. Направо – высокий Кремль, розовый, белый с золотцем, молодо озаренный утром. Тележка катится звонко с моста, бежит на вожжах Антипушка. Домна Панферовна, под зонтом, словно летит по воздуху, обогнала и Федю. Кривая мчится, как на бегах, под горку, хвостом играет. Медленно тянем в горку. И вот – Боровицкие ворота.

Горкин ведет Кремлем.

Дубовые ворота в башне всегда открыты – и день, и ночь. Гулко гремит под сводами тележка, и вот он, священный Кремль, светлый и тихий-тихий, весь в воздухе. Никто-то не сторожит его. Смотрят орлы на башнях. Тихий дворец, весь розовый, с отблесками от стекол, с солнца. Справа – обрыв, в решетке, крестики древней церкви, куполки, зубчики стен кремлевских, Москва и даль.

Горкин велит остановиться.

Крестимся на Москву внизу. Там, за рекой, Замоскворечье, откуда мы. Утреннее оно, в туманце. Свечи над ним мерцают – белые колоколенки с крестами. Слышится редкий благовест⁵⁴.

А вот – соборы.

Грузно стоят они древними белыми стенами, с узенькими оконцами, в куполах. Пухлые купола клубятся. За ними – синь. Будто не купола – стоят золотые облака, клубятся. Тлеют кресты на них темным и дымным золотом. У соборов не двери – дверки. Люди под ними – мошки. В кучках сидят они, там и там, по плитам Соборной площади. Что ты, моя тележка... и что я сам! Остро звенят стрижи, носятся в куполах, мелькая.

– Богомольцы-то, – указывает Горкин, – тут и спят, под соборами, со всей России. Чаек попивают, переобуваются... хорошо. Успенский, Благовещенский, Архангельский... Ах и хорошие же соборы наши... душевные!..

Постукивает тележка, как в пустоте, – отстукивает в стенах горошком.

– Во, Иван-то Великой... ка-кой!..

Такой великий... больно закинуть голову. Он молчит.

Мимо старинных пушек, мимо пестрой заградочки с солдатом, который обнял ружье и смотрит, катится звонкая тележка, книзу, под башенку.

– А это Никольские ворота, – указывает Горкин. – Крестись, Никола – дорожным помочь. Ворочь, Антипушка, к Царице Небесной... нипочем мимо не проходят.

Иверская открыта, мерцают свечи. На скользкой железной паперти, ясной от скольких ног, – тихие богомольцы, в кучках, с котомками, с громкими жестяными чайниками и мешками, с палочками и клюшками, с ломтями хлеба. Молятся, и жуют, и дремлют. На синем, со звездами золотыми, куполке – железный, с мечом, Архангел держит высокий крест.

В часовне еще просторно и холодок, пахнет горячим воском. Мы ставим свечи, падаем на колени перед Владычицей, целуем ризу. Темный знакомый лик скорбно над нами смотрит – всю душу видит. Горкин так и сказал: «Молись, а она уж всю душу видит». Он подводит меня к подсвечнику, широко разевает рот и что-то глотает с ложечки. Я вижу серебряный горшочек, в нем на цепочке ложечка. Не сладкая ли кутья, какую дают в Хотькове? Горкин

⁵³ *Гро́шик* (*грош*) – медная монета, равная полукопейке.

⁵⁴ *Бла́говест* – от «благая весть»; так называют колокольный звон, призывающий верующих к началу церковной службы. Благовест производится в один колокол.

рассказывал. Он поднимает меня под мышки, велит ширьше разинуть рот. Я хочу выплюнуть – и страшусь.

– Глотай, глотай, дурачок... святое маслице... – шепчет он.

Я глотаю. И все принимают маслице. Домна Панферовна принимает три ложечки, будто пьет чай с вареньем, обсасывает ложечку, облизывает губы и чмокает. И Анюта как бабушка.

– Еще бы принял, а? – говорит мне Домна Панферовна и берется за ложечку. – Животик лучше не заболит, а? Моленное, чистое, афо-онское, а?..

Больше я не хочу. И Горкин остерегает:

– Много-то на дорогу не годится, Домна Панферовна... кабы чего не вышло.

Мы проходим Никольскую, в холодке. Лавки еще не отпирались, – сизые ставни да решетки. Из глухих, темноватых переулков тянет на нас прохладой, пахнет изюмом и мятным пряником: там лабазы со всякой всячиной. В голубой башенке – Великомученик Пантелеймон⁵⁵. Заходим и принимаем маслице. Тянемся долго-долго – и все Москва. Анюта просится на возок, кривит ножки, но Домна Панферовна никак: «Взялась – и иди пешком!» Входим под Сухареву башню, где колдун Брюс⁵⁶ сидит, замуравлен на веки вечные. Идем Мещанской – все-то сады, сады. Двигутся богомольцы, тянутся и навстречу нам. Есть московские, как и мы; и больше дальние, с деревень: бурые армяки-сермяги⁵⁷, онучи⁵⁸, лапти, юбки из крашенины, в клетку, платки, понёвы⁵⁹, – шорох и шлёпы ног. Тумбочки – деревянные, травка у мостовой; лавчонки – с сушеной воблой, с чайниками, с лаптями, с кваском и зеленым луком, с копчеными селедками на двери, с жирною «астраханкой» в кадках. Федя полощется в рассоле, тянет важную, за пятак, и нюхает: не «духовного звания»? Горкин крикает: хороша! Говееет, ему нельзя. Вон и желтые домики заставы, за ними – даль.

– Гляди, какие... рязанские! – показывает на богомолка Горкин. – А ушками-то позадь – смоленские. А то тамбовки, ноги кувалдами... Сдалече, мать?

– Дальние, отец... рязанские мы, стяпные... – поет старушка. – Московский сам-то? Внучек тебе-то паренек? Картузик какой хороший... почему такой?

С ней идет красивая молодка, совсем как девочка, в узорочной сорочке, в красной повязке рожками, смотрит в землю. Бусы на ней янтарные, она их тянет.

– Твоя красавица-то? – спрашивает Горкин про девочку, но та не смотрит.

– Внучка мне... больная у нас она... – жалостно говорит старушка и оправляет бусинки на красавице. – Молчит и молчит, с год уж... первенького как заспала, мальчик был. Вот и идем к Угоднику. Повозочка-то у тебе нарядная, больно хороша, увозлива... почему такая?

Тележка состукивает на боковину, катится хорошо, пылит. Домики погрязней, пониже, дальше от мостовой. Стучат черные кузницы, пахнет угарным углем.

– Прощай, Москва! – крестится на заставе Горкин. – Вот мы и за Крестовской, самое богомолье начинается. Ворочь, Антипушка, под рябины, к Брехунову... закусим, чайку

⁵⁵ *Великомученик Пантелеймон*. – Родился в г. Никомидии, был отдан отцом-язычником обучаться врачебному искусству, затем принял крещение и лечил без платы с призыванием имени Христа. Завистливые соперники-врачи донесли императору Максимиану о его исповедании Христа. После многочисленных пыток в 305 г. ему отсекали голову. Святой Пантелеймон и после смерти помогает всем, обращающимся к нему с молитвой, исцеляет недуги, поэтому к его имени прибавляют обязательный эпитет «целитель». День памяти – 9 августа (27 июля).

⁵⁶ *Колдун Брюс* — Яков Вилимович Брюс (1670– 1735), шотландец по происхождению, один из сподвижников Петра I, организовавший в России типографское дело. Мистическую, колдовскую славу принес Брюсу составленный им календарь, в котором содержались астрономические прогнозы. Среди москвичей ходили слухи, что Брюс занимается алхимией и колдовством в Сухаревой башне, где размещалась обсерватория и навигационная школа.

⁵⁷ *Армяк-сермяга* – верхняя крестьянская одежда свободного покроя из домотканого сукна.

⁵⁸ *Онуча* – обмотка для ноги под сапог или лапоть, портянка.

⁵⁹ *Понёва* – домотканая шерстяная клетчатая или полосатая юбка.

попьем. И садик у него приятный. Наш, ростовский... приговорки у него всякие в трактире, розписано хорошо...

Съезжаем под рябины. Я читаю на синей вывеске: «Трактир „Отрада“ с мытищинской водой Брехунова и Сад».

– Ему с ключей возят. Такая вода... упьешься! И человек раздушевный.

– А селедку-то я есть не стану, Михал Панкратыч, – говорит Федя, – поговеть тоже хочу. Куда ее?..

– Хорошее дело, поговей. Пятак зря загубил... да ты богатый. Проходящему кому подай... куда!

– А верно!.. – говорит Федя радостно и сует старику с котомкой, плетущемуся в Москву. Старичок крестится на Федю, на селедку и на всех нас.

– Во-от... спаси ты Христос, сынок... а-а-а... спаси ты... – тянет он едва слышно, такой он слабый, – а-а-а... селедка... спаси Христос... сынок...

– Как Господь-то устраивает! – кричит Горкин. – Будет теперь селедку твою помнить, до самой до смерти.

Федя краснеет даже, а старик все щупает селедку. Его обступают богомолки.

– С часок, пожалуй, пропьем. Кривую-то лучше отпрячь, Антипушка... во двор введем. Маленько постойте тут, скажу хозяину.

Богомольцы все движутся. Пахнет дорогой, пылью. Видны леса. Солнце уже печет, небо голубовато-дымно. Там, далеко за ним, – радостное, чего не знаю, – Преподобный. Церкви всегда открыты, и все поют. Господи, как чудесно!..

– Вводи, Антипушка! – кричит Горкин, уж со двора.

За ним – хозяин, в белой рубахе, с малиновым пояском под пузом, толстый, веселый, рыжий. Хвалит нашу тележку, меня, Кривую, снимает меня с тележки, несет через жижицу в канавке и жарко хрипит мне в ухо:

– Вот уважили Брехунова, заглянули! А я вам стишок спою, все мои гости знают.

Брехунов зовет в «Отраду»
Всех – хошь стар, хошь молодой.
Получайте все в награду
Чай с мытищинской водой!

Богомольный садик

Мы – на святой дороге, и теперь мы другие, богомольцы. И все кажется мне особенным. Небо – как на святых картинках, чудесного голубого цвета, такое радостное. Мягкая, пыльная дорога, с травкой по сторонам, не простая дорога, а святая, называется – Троицкая. И люди ласковые такие, все поминают Господа: «Довел бы Господь к Угоднику», «Пошли вам Господи!» – будто мы все родные. И даже трактир называется – «Отрада».

Распрягаем Кривую и ставим в тень. Огромный кудрявый Брехунов велит дворнику подбросить ей свежего сенца – только что подкосили на усадьбе, – ведет нас куда-то по навозу и говорит так благочестиво:

– В богомольный садик пожалуйте... Москву повыполоскать перед святой дорожкой, как говорится.

Пахнет совсем по-деревенски – сеном, навозом, дегтем. Хрюкают в сараюшке свиньи, гогочут гуси, словно встречают нас. Брехунов отшвыривает ногой гусака, чтобы не заклевал меня, и ласково объясняет мне, что это гуси, самая глупая птица, а это вот петушок, а там

бочки от сахара, а сахарок с чайком пьют, и удивляется: «Ишь ты какой, даже и гусей знает!» Показывает высокий сарай с полатыми⁶⁰ и смеется, что у него тут «лоскутная гостиница», для странного народа.

– Поутру выгоняю, а к ночи битком... за тройчатку, с кипятком! Из вашего леску! Так папашеньке и скажите: был, мол, у Прокопа Брехунова, чай пил и гусей видал. А за лесок, мол, Брехунов к Покрову никак не может... а к Пасхе, может, Господь поможет.

Все смеются. Анюта испуганно шепчет мне: «Бабушка говорит, все трактирщики сущие разбойники... зарежут, кто ночует!» Но Брехунов на разбойника не похож. Он берет меня за голову, спрашивает: «А Москву видал?» – и вскидывает выше головы. Я знаю эту шутку, мне нравится, пальцы только у него жесткие. Он повертывает меня и говорит: «Мне бы такого паренька-то!» У него все девчонки, пять штук девчонок, на пучки можно продавать. Домна Панферовна не велит отчаиваться, может что-то поговорить супруге. Брехунов говорит – навряд, у старца Варнавы были, и он не обнадежил: «Зачем, – говорит, – тебе наследничка?»

– Говорю: Господь дает, расширяюсь... А кому всю машину передам? А он как в шутку: «Этого добра и без твоего много!» – трактирных, значит, делов.

– Не по душе ему, значит, – говорит Горкин, – а то бы помолился.

– А чайку-то попить народу надо? Говорю: «Басловите, батюшка, трактирчик на Разгуляе открываю». А он опять все сомнительно: «Разгуляться хочешь?» Открыл. А подручный меня на три тыщи и разгулял! В пустяке вот – и то провидел.

Горкин говорит, что для святого нет пустяков, они до всего снисходят.

Пьем чай в богомольном садике. Садик без травки, вытоптано, наставлены беседки из бузины, как кущи, и богомольцы пьют в них чаек. Все народ городской, не бедный. И все спрашивают друг друга, ласково: «Не к Преподобному ли изволите?» – и сами радостно говорят, что и они тоже к Преподобному, если Господь сподобит. Будто тут все родные. Ходят разношники со святым товаром – с крестиками, с образками, со святыми картинками и книжечками про жития. Крестиков и образков Горкин покупать не велит: там купим, окропленных со святых мощей, лучше на монастырь пойдет. В монастыре, у Троице-Сергия, три дня кормят задаром всех бедных богомольцев, сколько ни приходи. Федя покупает за семитку⁶¹ книжечку в розовой бумажке – «Житие Преподобного Сергия», – будем рассчитывать дорожкой, чтобы все знать. Ходит монашка в подкованных башмаках, кланяется всем в пояс – просит на бедную обитель. Все кладут ей по силе-возможности на черную книжку с крестиком.

– И как все благочестиво да хорошо, смотреть приятно! – говорит Горкин радостно. – А по дороге и еще лучше будет. А уж в Лавре... и говорить нечего. Из Москвы – как из ада вывалились.

Бегают белые половые с чайниками, похожими на большие яйца: один с кипятком, другой, поменьше, с заварочкой. Называется – парочка. Брехунов велит заварить для нас особенного, который розаном пахнет. Говорит нам:

– Кому – вот те на, а для вас – господина Бо-тки-на! Кому пареного, а для вас – ба-ринова!

И приговаривает стишок:

Русский любит чай вприкуску Да покруче кипяток!

– А ежели по-богомольному, то вот как: «Поет монашек, а в нем сто чашек?» – отгадай, ну-ка! Самоварчик! А ну опять... «Носик черен, бел-пузат, хвост калачиком назад?» Не зна-

⁶⁰ *Пола́ти* – широкие нары, настил для спанья; устраивались в избах под потолком между печью и противоположной стеной.

⁶¹ *Семі́тка* – две копейки.

ешь? А вон он, чайничек-то! Я всякие загадки умею. А то еще богомольное, монахи любят... «Господа помо-лим, чайком грешки промо-ем!» А то и «ки-шки промоем»... и так говорят.

– Это нам не подходит, Прокоп Антоныч, – говорит Горкин, – в Москве наслушались этого добра-то.

– Москва уж всему обучит. Гляди ты, прикусывает-то как чисто, а! – дивится на меня Бrehунов. – И кипятку не боится!

Предлагает нам расстегайчика⁶², кашки на сковородке со снеточком⁶³, а то московской соляночки со свежими подберезничками. Горкин отказывается. У Троицы, Бог даст, отговемшись, в блинных, в овражке, всего отведаем – и грибочков, и карасиков, и кашничков заварных, и блинков, то-сё... а теперь, во святой дороге, нельзя ублажать мамон⁶⁴. И то бара-ночками да мягоньким грешим вот, а дальше уж на сухариках поедем, разве что на ночевке щец постных похлебаем.

Бrehунов хвалит, какие мы правильные, хорошо веру держим:

– Глядеть на вас утешительно, как благолепие соблюдаете. А мы тут, как черви какие, в пучине крутимся, праздники позабыли. На Масленой⁶⁵ вон странник проходил... может, слышали?... Симеонушка-странник?

– Как не слышать, – говорит Горкин, – сосед наш был, на Ордынке кучером служил у краснорядца Пузакова, а потом, годов пять уж, в странчество пошел, по благодати. Так что он-то?..

– На все серчал. Жена его на улице встрела, завела в трактир, погреться, ростепель была, а на нем валенки худые и промокли. Увидал стойку... Масленица, понятно, выпимши народ, у стойки непорядок, понятно, шкаликами выстукивают во как... и разговор не духовный, понятно... Он первым делом палкой по шкаликам, начисто смел. Мы его успокоили, под образа посадили, чайку, блинков, то-сё... Плакать принялся над блинками. Один блин и сжевал-то всего. Потом кэ-эк по чайнику кулаком!.. «А, – кричит, – чай да сахара, а сами катимся с горы!..» Погрозил посохом и пошел. Дошел до каменного столба к заставе да трои суток и высидел, бутушник уж его принял, а то стечение народу стало, проезду нет. «Мне, – говорит, – у столба теплей, ничем на вашей печке!» Грешим, понятно, много. Такими-то еще и держимся.

Он уходит, говорит: «Делов этих у меня... уж извините».

К нам подходят бедные богомольцы, в бурых сермягах и лапотках, крестятся на нас и просят чайку на заварочку щепотку, мокренького хоть. Горкин дает щепотки и сахарку, но набирается целая куча их, и все просят. Мы отмахиваемся – где же на всех хватит. Прибегают Бrehунов и начинает кричать: «Как они пробрались? Гнать их в шею!» Половые гонят богомолку салфетками. Пролезли где-то через дыру в заборе и на огороде клубнику потоптали. Я вижу, как одному старику дал половой в загорбок. Горкин вздыхает: «Господи, греха-то что!» Бrehунов кричит: «Их разбалуй, настоящему богомольцу и ходу не дадут!» Одна старушка легла на землю, и ее поволокли волоком, за сумку. Горкин разахался:

– Мы кусками швыряемся, а вон... А при конце света их-то Господь первых и призовет. Их там не поволокут... там кого другого поволокут.

И Антипушка говорит, что поволокут. Домна Панферовна стыдит полового, что мать ведь свою, дурак, волочит. А он свое: нам хозяин приказывает. И все в беседках начали говорить, что нельзя так со старым человеком, крепче забор тогда поставьте! Бrehунов оправ-

⁶² *Расстегай* – пирожок с открытой начинкой.

⁶³ *Снеток* – мелкая пресноводная промысловая рыба. Обычно ее ловили в Белом озере.

⁶⁴ *Ублажать мамон* – до отказа набивать желудок, переедать, страдать обжорством.

⁶⁵ *На Масленой* – то есть на Масленицу, перед началом Великого поста. В это время разрешена скоромная пища, кроме мяса.

дывается, что они сквозь землю пролезут... что вам-то хорошо – попили да пошли, а его прямо одолели!..

– «Лоскутную» им поставил, весь спитой чай раздаю, кипятком хоть залейся, и за все три монетки только! Они за день боле полтинника нахнычут, а есть такие, что от стойки не отгонишь, пятаками швыряются. Не все, понятно, и праведные бывают...

– Если бы я был царь, – говорит Федя, – я бы по всем богомольным дорогам трактиры велел построить и всем бы бесплатно все бы... бедные которые, и чай, и щец с ломтем хлеба... А то зимой сколько таких позамерзает!

Горкин хвалит его – не в папашу пошел: тот три дома на баранках нажил, а Федя в обитель собирается, а ему богатеющую невесту сватают. Федя краснеет и не смотрит, а Домна Панферовна говорит, что вон Алексей-то – Божий человек царский сын был, а в конуру ушел от свадьбы... от царства отказался.

Антипушка крестится в бузину и говорит радостно так:

– До чего ж хорошо-то, Го-осподи!.. Какие святые-то бывают, а уж нам хоть знать-то про них, и то радость великая.

Соседи по беседке рассказывают, что есть один такой в Таганке, сын богатого мучника... взял на Крещение у дворника полушубок, шапку да валенки – и пропал! А вот на самый день матери Елены, царя Костинкина, 21 числа май-месяца, письмо пришло с Афонской горы: «Тут я нахожусь, на веки веков, аминь». Три тыщи мучник на монастырь будто выслал.

Все хвалят, и так всем радостно, что есть и теперь подвижники. И Брехунов говорит, что если уж по-настоящему сказать, то лучше богомольной жизни ничего нет. Он давно при этом деле находится и видит, сколько всякого богомольного народа, – душа прямо не нарадуется!

Мы пьем чай очень долго. Федя давно напился и читает нам житие, нараспев, как в церкви. Домна Панферовна сидит, разваливши рот, еле передыхает – по самое сердце допила. Анюта все пристает к ней, просит: «Бабушка, пожалуйста, не помри смотри... у тебя сердце выскочит, как намедни!» А с ней было плохо на Масленице, когда она тоже допила у нас и много блинков поела. Она все потирает сердце, говорит: чай это крепкий такой. Горкин говорит: пропотеешь – облегчит, а чай на редкость. Они с Антипушкой все стучат крышечкой по чайнику, еще кипяточка требуют. Пиджак и поддевочку они сняли, у Антипушки течет с лысины, рубаха на плечах взмокла. И Горкин все утирается полотенцем, – а пьют и пьют. Я все спрашиваю: да когда же пойдем-то? А Горкин только и говорит: дай напьемся. Они сидят друг против дружки, молча, держат на пальцах блюдечки, отдувают парок и схлебывают живой-то кипятком. Антипушка поглядит в бузину и повздыхает: «Их, хорошо-о!..» И Горкин поглядит тоже в бузину и скажет: «На что лучше!» Брехунов зовет Домну Панферовну поговорить с супругой. А они все не опрокидывают чашек и не кладут сахарок на донышки. Горкин наконец говорит: «Шабаш!.. Ай еще постучать, последний?» Антипушка хвалит воду: до чего ж мягкая! Горкин опять стучит и велит Феде сводить меня показать трактир, как хорошо расписано.

Мы идем из садика черным ходом, а навстречу нам летят с лестницы половой-мальчишка с разбитым чайником и трет чего-то затылок. На ухе у него кровь. Брехунов стоит наверху с салфеткой и кричит страшным голосом: «Голову оторву!..» – и еще нехорошие слова. Он видит нас и кричит: «С ими нельзя без боя... все чайники перебили, подлецы!» И щелкает салфеткой.

– Видал фокус? – спрашивает он меня. – Как щелкну да перейму – кончиком мясо вырву! И меня так учили. По уху щелкнут – с кровью волосья вырвут! Не на чем показать-то...

Я боюсь. Федя говорит: Михайла Панкратыч велит показать трактир, как там расписано. Брехунов берет меня за руку и ведет в большую комнату, в синий дым. Тут очень шумно, за столиками разные пьют чай. Брехунов подносит меня к прилавок, за которым все чайники на полках, словно фарфоровые яйца, и говорит: «Вот какие мальчишки-то бывают!» Я вижу очень полную, с круглым белым лицом, как огромный чайник, светловолосую женщину. Она сидит за прилавком и пьет чай с постными пирогами. Тут и Домна Панферовна, пьет чай с вареньем, и сидит много девочек на ящиках, побольше и поменьше, все белобрысые, с голубыми гребенками на головках, и у всех в кулаке по пирогу. Брехунов ставит меня на прилавок у пирогов и повторяет: «Вот какие бывают!» Мне стыдно, все на меня глядят, а на мне пыльные сапожки, а тут пироги и девочки. Женщина смотрит ласково и будто грустно, гладит мою руку и перебирает пальцы, спрашивает, сколько мне лет, знаю ли «Отче наш», сажает к себе на колени и дает ложечку варенья. Все девочки глядят на меня, как на какое чудо. Брехунов барабанит пальцами и тоже смотрит. Женщина спрашивает его, можно ли мне дать пирожка. Он говорит: «Обязательно можно!» – и велит еще дать изюмцу и мятных пряников. Она насыпает мне полные карманы и все хочет поцеловать меня, но я не даюсь, мне стыдно.

Брехунов носит меня над головами, над столами, в пареном, дымном воздухе, показывает мне канареечек и как хорошо расписано. Я вижу лебедей на воде, а на бережку господы пьют чай и стоят, как белые столбики, половые с салфетками. Потом нарисована дорога, и по ней, в елочках, идут богомольцы в лапотках, а на пеньках сидят добрые медведи и хорошо так смотрят. Я спрашиваю: «Это святые медведи, от Преподобного?» Он говорит: «Обязательно святые, от Троицы, а грешника обязательно загрызут, только Преподобного не трогали». И показывает мне самое главное – мытищинскую воду. Это большая зеленая гора, в елках, и наверху тоже сидят медведи, а в горе ввернуты медные краны, какие бывают в банях, и из них хлещет синими дугами мытищинская вода в большие самовары, даже с пеной. Потом он показывает огромный медный куб с кипятком, откуда нацеживают в чайники. И говорит:

– И еще одну механику покажу, стойку нашу.

Он отводит меня к грязному прилавку, где соленые огурцы и горячая белужина на доске, а на подносе много зеленых шкаликов. Перед стойкой толпятся взъерошенные люди, грязные и босые, сердито плюются на пол и скребут ногой об ногу. Брехунов шепчет мне:

– А это пьяницы... их Бог наказал.

Пьяницы стучат пятаками и кричат нехорошие слова. Мне страшно, но тут я слышу ласковый голос Горкина:

– Пора и в дорогу, запрягаем.

Он видит, на что мы смотрим, и говорит строгим голосом:

– Так не годится, Прокоп Антоныч... чего хорошего ему тут глядеть! – Он сердито тянет меня и почти кричит: – Пойдем, нечего тут глядеть, как люди себя теряют... пойдем!

Горкин расстроен чем-то. Он сердито увязывает мешок, кричит на Федю и на Домну Панферовну: «Пустить без себя нельзя... помощники... рублишко бы за брехню сорвать – на то вас станет!...» Домна Панферовна хватается саквояж, кричит Анюте: «Ну, чего рот раззявила, пойдем!» – кричит Горкину: «Развозился, без тебя и дороги не найдем, как же!...» – и бежит с зонтиком, в балахоне. За ней испуганная Анюта с узелочком. Горкин кричит вдогонку: «Ишь шпареная какая... возу легче!» Федя не шелохнется, Брехунов стоит поглядывает. У Горкина лицо красное, дрожат руки. Он выбрасывает на столик три пятака, подвигает их к Брехунову, а тот отодвигает и все говорит: «Это почему ж такое?... Из уважения я, как вы мои гости... Да ты счумел?!»

Горкин кричит, уже не в себе:

– Мы не гости... «го-сти»! Одно безобразие! Нагрели с короб... На богомолье идем, а нам пьяниц показывают! Не надо нам угощения!.. И я-то, дурак, записался...

Брехунов говорит сквозь зубы: «Как угодно-с», – и стучит пятаками по столу. Лицо у него сердитое. Мы идем к забору, а он вдогонку:

– И вздорный же ты старик стал! И за что?! И шут с тобой, коли так!

Что-то звякает, и я вижу, как летят пятаки в забор. Горкин вдруг останавливается, смотрит, словно проснулся. И говорит тревожно:

– Как же это так?.. Негоже так. Говею, а так... осерчал. Так отойти нельзя... Как же так?..

Он оглядывается растерянно, дергает себя за бородку, жуёт губами.

– Прокоп Антоныч, – говорит он, – уж не обижайся, прости уж меня, по-хорошему. Виноват, сам не знаю, что вдруг!.. Говеть буду у Троицы... Уж не попомни на мне, сгоряча я чтой-то, чаю много попил, с чаю... чай твой такой сердитый!..

Он собирает пятаки и быстро сует в карман. Брехунов говорит, что чай у него самолучший, для уважаемых, а человек человека обидеть всегда может.

– Бывает, закипело сердце. Чай-то хороший мой, а мы-то вот...

Они еще говорят, уже мирно, и прощаются за руку. Горкин все повторяет: «А и вправду, вздорный я стал, погорячился...» Брехунов сам отворяет нам ворота, говорит, нахмурясь: «Пошел бы и я с вами подышать святым воздухом, да вот... к навозу прирос, жить-то надо!» – и плюет в жижицу в канавке.

– Просвирку-то за нас вынешь? – кричит он вслед.

– Го-осподи, да как же не вынуть-то! – кричит Горкин и снимает картуз. – И выну, и помолюсь... Прости ты нас, Господи! – И крестится.

Долго идем слободкой, с садами и огородами. Попадаются прудики; трубы дымят по фабрикам. Скоро вольнее будет: пойдут поля, тропочки по лужкам, лесочки. Долго идем, молчим. Кривая шажком плетется. Горкин говорит:

– А ведь это все искушение нам было... все *он* ведь это! Господи, помилуй...

Он снимает картуз и крестится на белую церковь, вправо. И все мы крестимся. Я знаю, кто это – *он*.

Впереди, у дороги, сидит на травке Домна Панферовна с Анютой. Анюта тычется в узелок – плачет? Горкин еще издали кричит им: «Ну чего уж... пойдемте, с Господом! По-доброму, по-хорошему...» Они поднимаются и молча идут за нами. Всем нам как-то не по себе. Антипушка почмокивает Кривой, вздыхает. Вздыхает и Горкин, и Домна Панферовна. А кругом весело, ярко, зелено. Бредут богомольцы – и по большой дороге, и по тропкам. Горкин говорит: «По времени-то девятого половина, нам бы за Ростокином быть, к Мытищам подбираться, а мы святое на чай сменяли», – он виноват во всем.

Хорошо поют где-то, церковное. Это внизу, у речки, в березках. Подходим ближе. Горкин говорит: хоть об заклад побиться, васильевские это певчие, с Полянки. Федя признает даже Ломшакова, октавный рык⁶⁶, а Горкин – и батыринские баса⁶⁷, и Костикова – тенора⁶⁸. Славно поют в березках. Только тревожить не годится, а то смутишь. Стоим и слушаем, как из овражка доносится:

...я-ко кади-ло пре-е-д То-о-бо-о-о-ю-у-у...
Во-зде-я-а-а...ние... руку мое-э-э-ю-уу!..

⁶⁶ *Октавный рык* – очень низкий голос.

⁶⁷ *Бас* – низкий мужской голос.

⁶⁸ *Тенор* – высокий мужской голос.

Плывет – будто из-под земли на небо. Долго слушаем, и другие с нами. Говорят: небесное пение. Кончили. Горкин говорит тихо:

– Это они на богомолье, всякое лето тройкой ходят. Вишь, узелки-то на посошках... пиджаки-то посняли: жарко. Ну, там повидаемся. И до чего ж хорошо, душа отходит! Поправился наш Ломшачок в больнице, вот и на богомолье.

Анюта шепчет: «Закуси там у них на бумажках и бутылка». Горкин смеется: «Глаза-то у те острые! Может, и закусят-выпьют малость, а как поют-то! Им за это Господь простит».

Идем. Горкин велит Феде – стишок подушевной какой начал бы. Федя несмело начинает: «Стопы моя...» Горкин поддерживает слабым, дрожащим голосом: «...направи... по словеси Твоему...» Поем все громче, поют и другие богомольцы. Домна Панферовна, Анюта, я и Антипушка подпеваем все радостней, все душевней:

И да не обладает мно-о-ю...
Вся-кое... безза-ко-ни-и-е...

Поем и поем, под шаг. И становится на душе легко, покойно. Кажется мне, что и Кривая слушает, и ей хорошо, как нам, – помахивает хвостом от мошек. Мягко потукивает на колеях тележка. Печет солнце, мне дремлется...

– Полежай в тележку-то, подреми... рано поднялся-то! – говорит мне Горкин. – И ты, Онюта, садись. До Мытищ-то и выспитесь.

Укачивает тележка – туп-туп... туп-туп... Я лежу на спине, на сене, гляжу в небо. Такое оно чистое, голубое, глубокое. Яркое, слепит лучезарным светом. Смотрю, смотрю – лечу в голубую глубину. Кто-то тихо-тихо поет, баюкает. Анюта это?..

...у-гу-гу... гу-гу... гу-гу...
На зеле-ном... на лу-гу...

Или – стучит тележка... или – во сне мне снится?..

На святой дороге

Стреском встряхивают меня, страшные голоса кричат: «Тпру!... Тпру!...» – и я, как впро-сонках, слышу:

– Понеслась-то как!.. Это она Язу признала, пить желает.

– Да нешто Язу это?

– Самая Язу, только чистая тут она.

Какая Язу? Я ничего не понимаю.

– Вставай, милой... ишь разоспался как! – узнаю я ласковый голос Горкина. – Щеки-то нажгло... Хуже так-то жарой сморит, а головку напекет. Вставай, к Мытищам уж подходим, донес Господь.

Во рту у меня все ссохлось, словно песок насыпан, и такая истома в теле – косточки все поют. Мытищи?.. И вспоминаю радостное: вода из горы бежит! Узнаю голосок Анюты:

– Какой же это, бабушка, богомольщик?.. В тележке всё!

И теперь начинаю понимать: мы идем к Преподобному, и сейчас лето, солнышко, всякие цветы, травки... а я в тележке. Вижу кучу травы у глаза, слышу вялый и теплый запах, как на Троицын день в церкви, и ласкающий холодок освежает мое лицо: сыплются на меня

травинки, и через них все – зеленое. Так хорошо, что я притворяюсь спящим и вижу, жмурясь, как Горкин посыпает меня травой и смеется его борода.

– Мы его, постой, кропивкой... Онюта, да-кося мне кропивку-то!..

Вижу обвисшие от жары орешины, воткнутые надо мной от солнца, и за ними – слепящий блеск. Солнце прямо над головой, палит. У самого моего лица – крупные белые ромашки в траве, синие колокольчики и – радость такая! – листики земляники с зародышками ягод. Я вскакиваю в тележке, хватаю траву и начинаю тереть лицо.

И теперь вижу все.

Весело, зелено, чудесно! И луга, и поля, и лес. Он еще далеко отсюда, угрюмый, темный. Называют его – боры. В этих борах – Угодник, и там – медведи. Ближе сереется деревня, словно дрожит на воздухе. Так бывает в жары, от пара. Сияет-дрожит над ней белая, как из снега, колокольня, с блистающим золотым крестом. Это и есть Мытищи. Воздух – густой, горячий, совсем медовый, с согрехшихся на лугах цветов. Слышно жужжанье пчелок.

Мы стоим на лужку, у реки. Вся она в колком блеске из серебра, и чудится мне: на струйках – играют-сверкают крестики. Я кричу:

– Крестики, крестики на воде!..

И все говорят на речку:

– А и вправду... с солнышка крестики играют словно!

Речка кажется мне святой. И кругом все – святое.

Богомольцы лежат у воды, крестятся, пьют из речки пригоршнями, мочат сухие корочки. Бедный народ все больше: в сермягах, в кафтанишках, есть даже в полушубках, с заплатками, – захватила жара в дороге, – в лаптях и в чунях, есть и совсем босые. Перемаывают онучи, чистятся, спят в лопухах у моста, настегивают крапивою ноги, чтобы пошли ходчей. На мосту сидят с деревянными чашками убогие и причитают:

– Благодетели... ми-лостивцы, подайте святую милостинку... убогому-безногому... родителей-сродников... для-ради Угодника, во телоздравие, во душеспасение...

Анюта говорит, что видела страшного убогого, который утюгами загребал-полз на коже, без ног вовсе, когда я спал. И поющих слепцов видали. Мне горько, что я не видел, но Горкин утешает – всего увидим у Троицы, со всей Расеи туда сползаются. Говорят: вон там какой болезный!

На низенькой тележке, на дощатых катках-колесках, лежит под дерюжиной паренек, ни рукой, ни ногой не может. Везут его старуха с девчонкой из-под Орла. Горкин кладет на дерюжину пятак и просит старуху показать – душу пожаловать. Старуха велит девчонке поднять дерюжку. Подымаются с гулом мухи и опять садятся сосать у глаз. От большого ужасный запах. Девчонка веткой сгоняет мух. Мне делается страшно, но Горкин велит смотреть.

– От горя не отворачивайся... грех это!

В ногах у меня звенит, так бы и убежал, а глядеть хочется. Лицо у парня костлявое, как у мертвеца, все черное, мутные глаза гноятся. Он все щурится и моргает, силится прогнать мух, но мухи не слетают. Стонет тихо и шепчет засохшими губами: «Дунька... помочи-и...» Девчонка вытирает ему рот мокрой тряпкой, на которой присохли мухи. Руки у него тонкие, лежат, как плети. В одной вложен деревянный крестик, из лучинок. Я смотрю на крестик, и хочется мне заплакать почему-то. На холщовой рубахе парня лежат копейки. Федя кладет ему гривенничек на грудь и крестится. Парень глядит на Федю жалобно так, как будто думает, какой Федя здоровый и красивый, а он вот и рукой не может. Федя глядит тоже жалобно, жалеет парня. Старуха рассказывает так жалобно, все трясет головой и тычет в глаза черным, костлявым кулачком, по которому сбегает слезы:

– Уж такая беда лихая с нами... Сено, кормилец, вез да заспал на возу-то... на колдобине упал с воза, с того и попритчилось, кормилец... третий год вот все сохнет и сохнет. А хороший-то был какой, бе-е-лый да румяный... тебе не хуже!

Мы смотрим на Федю и на парня. Два месяца везут, сам запросился к Угоднику, во сне видал. Можно бы по чугунке, телушку бы продали, Господь с ней, да потрудиться надо.

– И все-то во снах видит... – жалостно говорит старуха, – все говорит-говорит: «Все-то я на ногах бегая да сено на воз кидаю!»

Горкин в утешение говорит, что по вере и дается, а у Господа нет конца милосердию. Спрашивает, как имя: просвиру вынет за здоровье.

– Михайлой звать-то, – радостно говорит старушка. – Мишенькой зовем.

– Выходит – тезка мне. Ну, Миша, молись – встанешь! – говорит Горкин как-то особенно, кричит словно, будто ему известно, что парень встанет.

Около нас толпятся богомольцы, шепотом говорят:

– Этот вот старичок сказал, уж ему известно... обязательно, говорит, встанет на ноги... уж ему известно!

Горкин отмахивается от них и строго говорит, что Богу только известно, а нам, грешным, веровать только надо и молиться. Но за ним ходят неотступно и слушают-ждут, не скажет ли им еще чего, – «такой-то ласковый старичок, все знает!».

Федя тащит ведро с речки – поит Кривую. Она долго сосет – не оторвется, а в нее овода впиваются, прямо в глаз, – только помаргивает – сосет. Видно, как у ней раздуваются бока и на них вздрагивают жилы. Я кричу – вижу на шее кровь:

– Кровь из нее идет, жила лопнула!..

Алой струйкой, густой, растекается на шее у Кривой кровь. Антипушка стирает лопушком и сердится:

– А, сте-ерва какая, прокусил, гад!.. Вон и еще... гляди, как искровянили-то лошадку оводишки... а она пьет и пьет, не чувствует!..

Говорят: это ничего, в такую жарынь полезно, лошадка-то больно сытая – «им и сладко». А Кривая все пьет и пьет, другое ведро просит. Антипушка говорит, что так не пила давно, – полезительная вода тут, стало быть. И все мы пьем, тоже из ведерка. Вода ключевая, сладкая: Яуза тут родится, от родников, с-под горок. И Горкин хвалит: прямо чисто с гвоздей вода, ржавчиной отзывает, с пузырьками даже, – верно, через железо бьет. А в Москве Яуза черная да вонючая, не подойдешь, потому и зовется – Яуза-Грязуза! И начинает громко рассказывать, будто из священного читает, а все богомольцы слушают. И подводчики с моста слушают – кипы везут на фабрику и приостановились.

– Так и человек. Родится дитё чистое, хорошее, андельская душа. А потом и обгрязнится, черная станет да вонючая, до смрада. У Бога все хорошее, все-то новенькое да чистенькое, как те досточка строгана... а сами себя поганим! Всякая душа, ну... как цветик полевой-духовитый. Ну, она, понятно, и чувствует – поганая она стала, – и тошно ей. Вот и потянет ее в баньку духовную, во глагольную, как в Писаниях писано: «В баню водную, во глагольную»! Потому и идем к Преподобному – пообмыться, обчиститься, совлечься от грязи-вони...

Все вздыхают и говорят:

– Верно говоришь, отец... ох, верно!

А Горкин еще из священного говорит, и мне кажется, что его считают за батюшку: в белом казакинчике он будто в подряснике – и так мне приятно это. Просят и просят:

– Еще поговори чего, батюшка... слушать-то тебя хорошо, разумно!..

На берегу, в сторонке, сидят двое, в ситцевых рубахах, пьют из бутылки и закусывают зеленым луком. Это, я знаю, плохие люди. Когда мы глядели парня, они кричали:

– Он вот водочки вечером хватит на пятаки-то ваши... сразу исцелится, разделяет комаря... таких тут много!

Горкин плюнул на них и крикнул, что нехорошо так охальничать, тут горе человеческое. А они все смеялись. И вот когда он говорил из священного, про душу, они опять стали насмехаться:

– Ври-ври, седая крыса! Чисть ее, душу, кирпичом с водочкой, чище твоей лысины заблестит!

Так все и ахнули. А подводчики кричат с моста:

– Кнутьями их, чертей! Такие вот намедни у нас две кипы товару срезали!..

А те смеются. Горкин их укоряет, что нельзя над душой охальничать. И Федя даже за Горкина заступился – а он всегда очень скромный. Горкин его зовет – «красная девица ты прямо!». И он даже укорять стал:

– Нехорошо так! Не наводите на грех!..

А они ему:

– Молчи, монах! В триковых штанах!..

Ну что с таких взять: охальники!

Один божественный старичок, с длинными волосами, мочит ноги в речке и рассказывает, какие язвы у него на ногах были, черви до кости проточили, а он летось помыл тут ноги с молитвой, и все-то затянуло, одни рубцы. Мы смотрим на его коричневые ноги: верно, одни рубцы.

– А наперед я из купели у Троицы мочил, а тут доправилось. Будете у Преподобного, от Златого Креста с молитвою испейте. И ты, мать, болящего сына из-под креста помой, с верой! – говорит он старушке, которая тоже слушает. – Преподобный кладезь тот копал, где Успенский собор, – и выбило струю, под небо! Опосля ее крестом накрыли. Так она скрозь тот крест проелась, прыщет во все концы, – чудо-расчудо.

Все мы радостно крестимся, а те охальники и кричат:

– Надувают дураков! Водопровод-напор это, нам все, сресалам, видно... дураки степные!

Старичок им прямо:

– Сам ты водопровод-напор!

И все мы им грозимся и посошками машем:

– Не охальничайте! Веру не шатайте, шатущие!..

И Горкин сказал: пусть хоть и распроводопровод, а через крест идет... и водопровод от Бога! А один из охальников допил бутылку, набулькал в нее из речки и на нас – плеск из горлышка, крест-накрест!

– Вот вам мое кропило! Исцеляйся от меня по пятаку с рыла!..

Так все и ахнули. Горкин кричит:

– Анафема⁶⁹ вам, охальники!..

И все богомольцы подняли посошки. И тут Федя – пиджак долой, плюнул в кулаки да как ахнет обоих в речку – пятки мелькнули только. А те вынырнули по грудь и давай нас всякими-то словами!.. Анюта спряталась в лопухи, и я перепугался, а подводчики на мосту кричат:

– Ку-най их, ку-най!

Федя как был, в лаковых сапогах, – к ним в реку и давай их за волосы трепать и окунать. А мы все смотрели и крестились. Горкин молит его:

⁶⁹ *Ана́фема* (гр.) – отлучение человека от Церкви. Отлученным запрещается принимать Тело и Кровь Спасителя, священники не молятся за них на литургии. Чаще всего предают анафеме еретиков – тех, кто искажает христианское вероучение.

– Федя, не утони... смирись!..

А он прямо с плачем кричит, что не может позволить Бога поносить, и все их окунал и по голове стучал. Тогда те стали молить – отпустить душу на покаяние. И все богомольцы принялись от радости бить посошками по воде, а одна старушка упала в речку, за мешок уж ее поймали – вытащили. А Федя выскочил из воды, весь бледный, – и в лопухи. Я смотрю: стягивает с себя сапоги и брюки и выходит в розовых панталонах. И все его хвалили. А те, охальники, выбрались на лужок и стали грозить, что сейчас приятелей позовут, мытищинцев, и всех нас перебьют ножами. Тут подводчики кинулись за ними, догнали на лужку и давай стегать кнутьями. А когда кончили, подошли к Горкину и говорят:

– Мы их дюже попарили, будут помнить. Их бы воротяжкой⁷⁰ надоть, чем вот воза прикручиваем!.. Басловите нас, батюшка.

Горкин замахал руками, стал говорить, что он не сподоблен, а самый простой плотник и грешник. Но они не поверили ему и сказали:

– Это ты для простоты укрываешься, а мы знаем.

Тележка выезжает на дорогу. Федя несет сапоги за ушки, останавливается у больного парня, кладет ему в ноги сапоги и говорит:

– Пусть носит за меня, когда исцелится.

Все ахают, говорят, что это уж указание ему такое и парень бесприменно исцелится, потому что сапоги эти не простые, а лаковые, не меньше как четвертной билет, – а не пожалел! Старуха плачет и крестится на Федю, причитает:

– Родимый ты мой, касатик-милостивец... хорошую невесту Господь те пошлет...

А он начинает всех оделять баранками и всем кланяется и говорит смиренно:

– Простите меня, грешного... самый я грешный.

И многие тут плакали от радости, и я заплакал.

Ищем Домну Панферовну, а она храпит в лопухах, так ничего и не видала. Горкин ей еще попенял:

– Здорова ты спать, Панферовна... так и царство небесное проспешь. А тут какие чудеса-то были!..

Очень она жалела, всех чудесов-то не видала.

Идем по тропкам к Мытищам. Я гляжу на Федины ноги, какие они белые, и думаю: как же он теперь без сапог-то будет? И Горкин говорит:

– Так, Федя, и пойдешь босой, в розовых? И что это с тобой деется? То щеголем разрядился, а то... Будто и не подходит так... в тройке – и босой! Люди засмеют. Ты бы уж поприглядней как...

– Я теперь, Михайла Панкратыч, уж все скажу... – говорит Федя, опустив глаза. – Лаковые сапоги я нарочно взял – добивать, а новую тройку – тридцать рублей стоила! – дотрепать. Не нужно мне красивое одеяние и всякие радости. А тут и вышло мне указание. Пришлось стаскивать сапоги. А как увидел болящего, меня в сердце толкнуло: отдай ему! И я отдал, развязался с сапогами. Могу простые купить, а то и тройку продам для нищих или отдам кому. Я с тем, Михайла Панкратыч, и пошел, чтобы не ворочаться. Давно надумал в монастыре остаться, как еще Саня Юрцов в послушники поступил...

И вдруг подпрыгнул – на сосновую шишечку попал – от непривычки.

Горкин разахался:

– В монасты-ырь?! Да как же так... да меня твой старик загрызет теперь... ты, скажет, смутил его!

⁷⁰ *Воротя́жка* – от «ворочать», «вращать». Здесь: жгут, веревка из кожи.

– Да нет, я ему письмо напишу, все скажу. По солдатчине льготный я, и у папаши Митя еще останется... да, может, еще и не примут, чего загадывать.

– Да Саня-то заика природный, а ты парень больно кудряв-красовит, – говорит Домна Панферовна, – на соблазн только, в монахи-то! Ну, возьмут тебя в певчие, и будут на тебя глаза пялить... нашу-то сестру взять.

– И горяч ты, Федя, подивился я нонче на тебя... – говорит Горкин. – Ох, подумай-подумай, дело это не легкое – в монастырь!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.